

Александр
Кабачков

18+

БУЛЬВАРНЫЙ РОМАН

И ДРУГИЕ
МОСКОВСКИЕ
СКАЗКИ



ШЕ

РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Александр Кабаков

**Бульварный роман и
другие московские сказки**

«Издательство АСТ»

2020

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Кабаков А. А.

Бульварный роман и другие московские сказки / А. А. Кабаков —
«Издательство АСТ», 2020

ISBN 978-5-17-121905-5

«Бульварный роман и другие московские сказки» — книга прозаика Александра Кабакова о жителях мегаполиса. Здесь, среди суеты и пробок, обыкновенная история любви становится сказочной, а реальное соединяется с мистическим. Автор рассказывает, как сложилась судьба Красной Шапочки и Серого Волка, нарушает ли правила дорожного движения Летучий Голландец и включена ли в программу ипотеки Вавилонская башня... Содержит нецензурную брань!

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-121905-5

© Кабаков А. А., 2020
© Издательство АСТ, 2020

Содержание

Бульварный роман	5
Московские сказки	36
Голландец	36
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Александр Кабаков

Бульварный роман и другие московские сказки

Бульварный роман

*У любви, как у птички... Понял? И все дела.
Из разговора*

Вне столь уж далекие времена молодости странное чувство посещало иногда автора. Возьмешь эдак библиотечный день, быстро проделаешь в гэпээнтэбэ необходимую выборку библиографии по плановой теме, заключишь это кружкой пива в расположившемся неподалеку от средоточия научных и технических знаний заведении, да и отправишься бродить по огромному городу, в котором мы с вами живем... И вдруг, в толпе, среди жаждущих приобретений и отдыха земляков и приезжих, ощутишь: один, совершенно один! Все вокруг полны недоступными твоему пониманию заботами, тайной и непостижимой твоему разуму жизнью, а ты – пария или избранник? – бредешь чужой, ни на кого не похожий, отдельный. Была такая иллюзия исключительности, свойственная юному существу.

Минуло все это. Вот исторгает тебя автобус после рабочего дня вместе с десятками и сотнями твоих соседей по жилкому микрорайону, и ты идешь по дорожкам и тропинкам, ведущим в глубь квартала, точно такой же, как остальные.

Это просто входишь, следовательно, в возраст зрелости, когда опыт радостей и разочарований уж твердо укрепляет тебя на положенном месте, и замечаешь: ан, а место-то неотличимо от любого иного. Столько же и счастья на него отпущено, и горестей. И что может быть прекраснее!.. Начало – в отличении себя от других; продолжение же – в совмещении, ибо ты единственный, как и все.

1

Спустя примерно полтора года после того, как произошли основные события следующего далее сюжета, которые, собственно, и событиями назвать нельзя, а так – ощущения, тени, шепот, робкое дыхание, лирический горьковатый соус на жилистом отварном мясе трудовых и нетрудовых будней, – итак, спустя примерно полтора года после того, как автор наткнулся на своего героя, пересекая огромный двор, который, собственно, и двором назвать нельзя, потому что ни заборов, ни подворотен, ни врытого в землю стола под жестяным абажуром лампы на косо провисающем проводе, ни грядок бабы Муси, ни деревянных ларей помойки, ни дворника Рустэма здесь не было, а были только длинные корабли и башни жилищ с затеками по межблочным швам да хоккейная коробочка, старательно расписанная как бы рекламой по высоким телевизионным образцам, да железные ржавые гаражи – словом, спустя примерно полтора года после того, как герой наш, называемый в соответствии с традициями, заложенными еще в советском детском саду, в основном по фамилии, Игнатьевым, которого, естественно, и героем-то назвать нельзя никак, поскольку ни в общественно-политическом смысле, ни в литературно-художественном он никакими качествами героя не обладает, не воплощает лучшие и типические черты, не поражает глубиной психологической разработки характера, не совершает, наконец, даже никаких, собственно, поступков, а если и совершает какие-то более значительные, чем прикуруивание, то как бы за рамой этого, предлагаемого в данный момент чита-

телю литературного полотна, короче, спустя примерно полтора года после того, как началась в жизни Игнатьева одна большая перемена, мы бестактно ворвемся в однокомнатную кооперативную квартиру среди бела дня и застанем в ней акт любви.

Вообще-то, потому и фраза получилась такой невообразимой длины, что как-то не решался на это автор, как-то вроде неловко было.

...Он старался раздеться быстро и при этом не оскорбить ее эстетическое, как он предполагал, чувство видом своего мужского туалета, и поэтому сдергивал все попарно – сначала клетчатую рубашку вместе с голубой майкой, потом отечественные брюки с аналогичными трусами темного цвета, а уж после, переступая новыми носками по болгарскому паласу, подошел к тахте, которую он называл мысленно софой, а по сути-то она была диваном-кроватью, и остановился вплотную к ложу, упершись в его край голенью и стараясь не глядеть вниз. Он очень хотел посмотреть вниз, ему было чрезвычайно интересно увидеть многое внизу, хотя в свои тридцать девять с лишним лет он несколько раз видел это и при более ярком свете, чем тот золотой пыльный дымок, что проникал в комнату сквозь шторы, но он предполагал, что здесь можно увидеть что-то совсем другое в смысле эстетики и культуры, а взглянуть не мог. Он не знал, понравится ли, что вот так станет разглядывать, и не покажется ли совсем недостойным такой явный интерес, как будто не видел никогда.

Она лежала навзничь прямо на сброшенном халатике и не закрывала глаза, хотя понимала, что это неловко, поскольку может вызвать совсем уж нежелательное смущение, и без того наполнившее всю комнату и особенно густо стоявшее над тахтой. В поле ее зрения прежде всего были большие красные кисти с толстыми выпуклыми ногтями, а от них вверх шли красно загорелые руки с мощными жилами, торс же был абсолютно бел, даже голубоват и безволос, что ее удивило, потому что весь ее опыт подсказывал, что такой сильный физически мужчина среднего возраста обязательно должен быть волосат, но, видимо, это правило распространялось только на творческую и высший слой технической интеллигенции. Она видела хорошо выбритый подбородок, от которого вверх, огибая рот, к носу уходили глубокие складки, а над всем был виден край седовато-русого чуба, но это уже видно было смутно, так как она была близорука, а очки сняла и положила на пол в головах. Она, вероятно, могла бы увидеть и еще какие-нибудь детали атлетического сложения, но красные огромные кисти были сложены, скрещены, и взгляд натывался на них и застывал, притянутый этими непропорциональными орудиями малоквалифицированного физического труда, этими выпуклыми роговыми ногтями и жилами.

Он осторожно лег, стараясь перевалить через тонкое и, видимо, легко ранимое, но круглое колено, не задев его, и на секунду застыл, упершись локтями в тахту, которую он по-прежнему мысленно называл софой, зависнув в воздухе и не зная, куда девать оставшиеся в определенной степени свободными руки. Он приложил рот к ее рту, но из поцелуя ничего не вышло, потому что она, как ему показалось, как-то оскалилась, и он отодвинулся, решив, что ей неприятен слишком сильный запах табака, а может, и еще чего, что он когда-либо ел или просто брал в рот. Он почувствовал ее руки и испугался, что, наверное, тем самым она дает понять нехватку его страсти, умения и напора, но тут она наконец закрыла глаза, и все получилось само собой, и через пару минут он уже не думал ни о чем, забыв даже о мучившем его душевном разладе – снимать или не снимать носки. Он открывал глаза и видел близко-близко, как траву, в которой валялся когда-то пацаном, розово-бежевую сморщенную кожу, сходящуюся к возвышению, имевшему форму пули и примерно такие же размеры. Он видел маленькое треугольное облако мелкозавитых волос, как бы парившее над кожей. Он видел то приближающееся вплотную, то отодвигающееся незагорелое, гладкое, тяжелое, круглое, туго обтянутое, от которого шел ровный несильный жар, как от пляжного светлого песка. Он видел ее над собой, уходящую ввысь, словно памятник, установленный на нем в ознаменование победы советского человека в многолетней и изнурительной борьбе естества против морального кодекса. Он видел ее сверху,

словно родную землю из космоса, и она казалась ему, как и героям-космонавтам, маленькой и беззащитной. Он видел ее сбоку, и она заслоняла от него весь мир и большую часть комнаты, и он казался себе в полной безопасности за ее спиной, и сам прикрывал ее от всех опасностей. Он видел ее сильно растрепавшиеся волосы, ее короткую стрижку, и ему хотелось, согнувшись, прикрыть ее всю собой, прижав покрепче голову, но он боялся, что тогда она не сможет дышать.

Она видела только его лицо, обтянувшиеся больше обычного скулы, углубившиеся складки, приоткрывающийся в мучительной гримасе рот, прилипший ко лбу потный чуб, раздувающиеся, так что нос выглядел хорошо оперенной стрелой, ноздри, а больше не видела ничего. Она снова закрывала глаза и только чувствовала его безволосую грудь, и жилы на руках, и лезущие сбоку в рот жесткие и спиральные пружинки волос, и носки, оскорбляющие ее ноги чужеродностью при нечаянных прикосновениях. Она не удивилась, что теперь он не кажется ей таким большим, как до этого, она вовсе не связывала физическую мощь с какими-то ожиданиями.

Он открыл однажды глаза и увидел, что на тахте лежит, кроме них двоих, ее собака – грустное живое существо с длинными ушами и смущенным, естественно, выражением глаз.

Она заметила, что он заметил собаку.

– Группен секс, – улыбнулась она.

Он вспомнил детские уроки и телевизионный фильм о группенфюрерах.

– Гут, – сказал он, слегка задыхаясь, и тоже улыбнулся.

Она отметила, что это вполне остроумно, но тут им уже стало не до продолжения шуток, потому что золотой дымок света, все это время проникавший сквозь штору, стал огненно-горячим.

И этот огонь расплавил их и сначала излился сквозь нее, а потом сквозь него.

И она закричала, и он ответил ей.

Он-она, он-она, он-она, он-она... Она! Она!! Она!!! Она, она, она, она... Он!!! Он!! Он!
Он...

Он перевернулся на спину и ненадолго заснул, забыв о скандалах, которые продолжает устраивать Томка в месткоме, о дочке, без которой теперь надо будет привыкать, о насмешках товарищей по труду, о несимпатичных соседях и даже о самой этой удивительной любви, от которой остался только крепкий сон, как у мальчишки после длинного дня летних каникул.

Она из ванной пошла на кухню, поставила на плиту кофеварку, подошла к окну – прямо так, не одеваясь, увидела пустой дневной город, вспомнила, что в этой пустоте где-то находится сейчас человек, которому она еще недавно желала за обиду смерти, – и улыбнулась, поняв, что теперь он вправду умер, и пожелала ему долгих лет жизни, больших успехов в творческом труде и крепкого личного счастья.

Теперь ей было не жалко. В комнате спал Игнатьев, и собака дремала, привалившись к его так и не снятым носкам, а собаки отличают добрых людей гораздо безошибочнее, чем женщины.

2

Пока ни о чем таком, конечно, не думал Игнатьев, возвращаясь с работы. Просто он поправил, вылезши из автобуса, свою букле-кепочку давнего футбольного фасона, да и пошел себе – среди соседей, влекущих детей из детского сада; спешащих к друзьям у боковых дверей районного супермаркета; сгибающихся под тяжестью доставленных из центра припасов. Среди своих соседей, словом.

О работе он тоже не думал. Он любил труд, к которому шел сложным жизненным путем, – подрезку веток и стрижку травы и кустов на бульваре по полномочиям треста озеленения, – однако не столь уж была эта служба сложна для осмысления, чтобы о ней еще и сейчас думать.

Не думал Игнатъев и о доме, поскольку дома у него на данный момент было все в порядке, начиная от жены Тамары, служащей по пищевой части в близлежащем детском учреждении типа сад-ясли, и кончая дочерью Мариной, успешно завершающей обучение в седьмом классе общеобразовательной школы – без троек.

Трудно, очень трудно проникнуть в чужие мысли. Особенно если мысли эти не совсем вняты. Примерно такие (пользуемся данным автору правом копаться в мыслях героя): "Да, жизнь... спешат все... неправильно... ты сначала пойми, а потом спеши... а то рубанул ветку, а она и привет... засохнет, говорю... опять же и утром в лифте... чего смотришь, когда муж есть?.. Нехорошо... Людмилой зовут... эх, Виталик, Виталик!.. Вот тебе и сони-грюндиг... все одинаковые..."

И так далее. Ничего нельзя понять. Во всяком случае, пока.

Поэтому мы и пропустим Игнатъева вперед,ждемся, пока проведет он обычное время вблизи универсама, а затем и в пивном баре "Стратосфера", пока достанет из почтового ящика вечернюю газету с кроссвордом, до которых его супруга большая охотница, хотя и без особых склонностей; пока поднимется в лифте на свой десятый этаж и выйдет к ужину. Мы же подождем другого, а именно Пирогова. Вот уже выходит он у того же подъезда из своего скромнейшего автомобиля одной из распространенных в мире марок, по привычке поправляет удивительной скромности галстук в неприметную косую полоску, вынимает из ящика свежую периодику, включая весьма информативный еженедельник... А вот уж и едет он в лифте на свой девятый, входит, сбрасывает неприметный синий пиджак, приветствует семью, садится за стол...

С его мыслями еще сложнее. Они хоть и глаже, да на иностранных, не слишком знакомых языках. Но попробуем все же: "Эврибади, как говорится... до единого... споткнись онли... аллигейторы... пер фаворе бриться... сожрут... эх, если бы получилось... тогда на втором бедрум, чайлда тогда еще одного можно бы... как же, получишь тут хоум энд хауз... жди... грюсс унд кюсс..."

Полная абракадабра. Ни словечка вроде бы о службе в весьма почтенном и представительном учреждении, о супруге Людмиле – институтской любви с Метростроевской, со временем специализировавшейся по надомным переводам, о дочери Кате, с блеском получающей образование в испанской спец и в плавательной спортивной. Будто и не заботит его все это. Впрочем, может, и действительно не заботит, коль все идет наилучшим образом?

Итак, они сидят и ужинают – один над другим. Мы же бросим на время изящно-туманный стиль изложения, принятый здесь – слово чести! – не из желания блеснуть, а по искреннему пристрастию души, и перейдем к строгому языку справки.

Игнатъев Борис Семёнович, тридцати восьми лет, рабочий треста озеленения, проживает на улице 5-я Средняя, две комнаты раздельные, все удобства, телефон, десятый этаж.

Пирогов Виталий Николаевич, тридцати восьми лет, заведующий сектором, был в служебных командировках, немецкий, английский свободно, проживает в том же доме, этажом ниже в точно такой же квартире.

Потолок Пирогова для Игнатъева пол.

Игнатъев сам еще не совсем понимает это, но, бесспорно, испытывает зарождающееся чувство любви к жене Пирогова Людмиле. Она, кажется, отвечает взаимностью. Игнатъев считает это позором и старается не задумываться.

Пирогов отлично понимает все, в том числе и то, что если бы эти Игнатъевы каким-либо образом съехали куда-нибудь к дьяволу, например, согласились бы на какой-нибудь вариант обмена, то очень мало препятствий осталось бы для создания семье Пироговых двухэтажного жилья по лучшим образцам журнала хорошей жизни "Хоум энд хауз, инк.". Пирогов считает, что это было бы справедливо, и все время об этом думает.

Желания соседей пока не высказаны, хотя Игнатъев однажды ночью вздохнул тихонько, глядя в потолок: "Люся..." – к счастью, жена его не проснулась. Она вообще спала хорошо. Что касается Пирогова, то он на волнующую его тему улучшения жилищных условий уже неоднократно беседовал с женой и находил в ней полную поддержку. Однако разговор с преданной женой – вещь интимная, все равно что с самим собой.

Так как соседи друг к другу никакого отношения еще не проявляют, у автора есть время до того, как развернется действие, придумать кое-какие эпизоды для биографии главного героя. Иначе не избежать упреков в отсутствии психологической глубины и стереоскопичности характера – без последнего загадочного свойства некоторые специалисты отечественной изящной словесности особенно страдают.

3

Всю свою сознательную жизнь Игнатъев прожил в городе. Это только так говорится, что сознательную, а на самом деле – всю жизнь, от самого рождения. Родился он в центре, в том лечебном учреждении, где родились едва ли не все его земляки, и сам факт появления на свет в этом роддоме уже многое говорит о происхождении человека. Если уж вы родились в этом доме, называемом запросто по фамилии, то, значит, и родители ваши были потомственными жителями большого города, и сами вы провели детство в одном из тех дворов, что окружены были желтыми двухэтажными особнячками и деревянными домишками... Стонали там по ночам ничейные коты, в ранних сумерках сверстники ваши играли в штандар, и мяч, улетающий прямо в небо, то и дело застревал на ветках тесно растущих и давно одичавших яблонь.

Это уж потом домишки снесли, особнячки отреставрировали, дворы огородили красивыми металлическими заборчиками... И под окончательно одичавшими яблонями укоренились голубоватые ели, а в глубине пространства, где прежде стоял трофейный "опель" соседа, появились соотечественницы этой машины, но современных моделей. Сами же вы из огромной комнаты в коммунальной квартире, в которой на антресолях жила еще одна семья, переехали в отдаленный микрорайон, в двухкомнатную с удобствами.

А теперь и микрорайон этот не кажется таким уж отдаленным.

В общем, Игнатъев был коренным горожанином, привык к ровному гулу улицы, доносящемуся из-за окон, к утренним запахам мокрого асфальта, нагретых за предыдущий день стен и идущих на работу людей, к прохладному ветру, прилетающему впереди поезда из тоннеля метро, и ко всему, к чему привыкает столичный житель за свои тридцать восемь лет, из которых только два года провел не в этой обстановке – то время, что служил в армии, да и в армии-то служил не за тридевять земель, а в другом огромном городе. Служил в строительных частях и выучился там на бульдозериста, строил склады на окраине.

А потом как-то само получилось, что обнаружил себя Игнатъев после армии стоящим в оранжевом жилете, надетом на голое тело, и наблюдающим, как каток ровняет только что уложенный им, Игнатъевым, горячий асфальт. Так уж вышло...

Сначала поступал он в Институт стали и сплавов, но не поступил. Тогда все поступали, и уже многие не поступили, из-за чего родители расстраивались, а сами поступающие очень удивлялись, потому что до этого все, кто поступал, те и поступали, а как раз во времена Игнатъева многие не поступили. И даже в журналах появились тогда повести и рассказы об этих непоступивших. В литературе они все обычно уезжали в какие-нибудь отдаленные районы страны, чтобы пройти там суровую школу, а в действительной жизни Игнатъев никуда не поехал, как-то в голову не пришло. "Литература и жизнь" – это газета тогда была такая, а больше между ними общего почти ничего и не было. Ну вот, Игнатъев поклонялся по своему двору, постоял в подъездах, поработал в типографии напротив своего дома разнорабочим, да и пошел в армию. А из армии вернулся с профессией бульдозериста и стал с ней жить. Родители постепенно к

этому привыкли, жена Игнатьева привыкла с самого начала, потому что она другого и не знала, дочь Игнатьева профессией отца не интересовалась, а он сам со временем из бульдозеристов стал крановщиком, потом слесарем по разному оборудованию, потом рабочим на металлобазе, потом еще кем-то, а потом стал лопатой разбрасывать горячий асфальт и смотреть, как каток его трамбует.

Тут мы его и застали. День был жаркий, асфальт дымил, каток грохотал, и всем прохожим становилось еще жарче, и далее дыхание у них перехватывало, когда они смотрели на Игнатьева в его оранжевом жилете, из которого торчали загорелые руки, а тело под жилетом проглядывало незагорелое, потому что жилет он снимал редко. Загар его не интересовал.

Ну потом жара пошла на убыль, Игнатьев закончил укладывать асфальт, вымыл руки, переделся в стоявшем неподалеку вагончике и пошел в семью.

Ночь наступила душная. Игнатьев сидел на балконе, смотрел на засыпающий после передачи "Сегодня в мире", уже хорошо обжитой квартал некогда отдаленного микрорайона и вспоминал. Может, из-за духоты, может, из-за дневной усталости он вспоминал то, о чем обычно не пытался вспомнить. Он, например, вспомнил, что его зовут Борис. А ведь действительно – забыл он свое имя, и неудивительно: в школе его называли по фамилии, в армии тоже, друзья юных лет звали Игнатом, теперешние приятели Чухой, что, на их взгляд, гармонировало с пыхтением асфальтового катка или еще с чем-то в образе Игнатьева, жена называла "отец", а дочь никак не называла.

Еще Игнатьев вспомнил, что всю жизнь он любит растения. Откуда в нем, в потомственном, как мы выяснили, горожанине, взялась эта странная любовь к зеленому, как говорится, другу, неизвестно, но только еще в школе он больше всего интересовался семядолями и хлорофиллом, а что пошел поступать в сталь и сплавы, так просто насчет ботаники, биологии или сельхозакадемии, что ли, не подумал.

Вообще, многое в биографии своей он мог объяснить и объяснял только так – не подумал, и всё. Вот сейчас, когда он сидит на балконе и думает, именно думает, подойдите к нему и спросите: ну, если ты так зеленую природу любишь, Игнатьев, чего ж ты дома хотя бы герань не разведешь, или там кактусы, или хотя бы полезное растение "доктор" не вырастишь? Знаете, что он скажет? Не думал как-то, скажет, вот что.

И даже не удивится, что вы к нему на балконе десятого этажа подошли. Не подумает...

В общем, лег Игнатьев спать.

А утром встал, картошки поел жареной с огурцами и пошел укладывать асфальт. Состояние у него было не особенно бодрое, но жить-то надо.

А там, где он укладывал асфальт, уже шум и суета. Все его товарищи по работе стоят кружком и смотрят, и бригадир стоит, и каток, хоть и пыхтит, но тоже стоит, потому что водитель стоит. И еще прохожие некоторые останавливаются.

И все они смотрят на то, что случилось там, где Игнатьев асфальт вчера укладывал. А на этом месте вот что произошло: дерево выросло. Липа. Асфальт весь, свежий еще, темный, трещинами пошел и лопнул, а из образовавшегося некрасивого отверстия и выросла эта липа. Сразу метра два с половиной, и цветет. Запах от ее цветения такой сильный, что никакого асфальтового духу и в помине нет. Листья такого хорошего зеленого цвета, как после дождя. На верхних ветках птицы прыгают и поют – синицы, кажется. А вокруг люди стоят и смотрят.

Игнатьев тоже долго стоял и смотрел, а потом вместе со всеми начал дерево рубить, вытаскивать из земли корень и асфальт ремонтировать. Весь день провозились, а вечером умылись, переоделись и пошли, как обычно. Все, конечно, долго обсуждали удивительный случай. Потому что грибы, бывает, за одну ночь ломают асфальт и прорастают. Бывает, еще и трава, – но только когда асфальт уже старый. А чтобы сквозь свежеложенный, да еще целое дерево, да сразу такое большое и в цвету, – этого никто понять не мог, и даже водитель катка, фамилию

которого Игнатъев не знал, его все Поней называли, не мог ничего предположить, хотя мужик был самый эрудированный.

И опять ночь была душевной. Игнатъев лежал в кровати под простыней и думал. Мысли его были в основном насчет удивительного дерева. Ему было стыдно, что он вместе со всеми его срубал, и корчевал, и потом ремонтировал асфальт. Дереву, небось, было трудно пробиваться через уложенный Игнатъевым асфальт и быстро, за одну ночь, расти и цвести, а Игнатъев пришел – и срубил. Умный нашелся...

Но если вы к нему сейчас, когда он лежит в кровати без сна, тихонько подойдете и спросите: а какого же черта ты, Игнатъев, его срубил, – он вот что ответит: "А не подумал... Чего, чего... Не подумал, вот чего..." И замолчит, не удивившись даже, что вы в запертую квартиру вошли. А если вы спросите у него: а не удивительно тебе, Игнатъев, что к тебе в запертую квартиру по ночам кто попало ходит, – он, знаете, чего скажет? "Не подумал как-то... Ага..." Вот чего.

Утром он поел макарон с колбасой жареной и пошел на работу.

А там опять волнение и недоумение общее. Асфальт, конечно, сломан, трещины по всей дороге разбежались, а из асфальта растет куст таких ягод, которые называются паслен. Игнатъев не знал, как они правильно называются – черненькие такие, мягкие и на вкус ничего, знал только, что одна старушка в их прежнем дворе, в центре еще, такие ягоды из деревни привозила, а потом эти кусты возле мусорного ящика так разрослись – спасу не было.

В общем, нарвали все этих ягод, а потом давай куст ломать, выкапывать и дорогу чинить. И Игнатъев вместе со всеми. А что же ему было делать – работа. Вечером он, понятно, опять думал и вспоминал, да что толку – куст-то уже... Конец, в общем, кусту-то.

Ну утром – вы уже догадались – там анютины глазки взошли. Синие такие. С лиловым. Как из панбархата – у матери Игнатъева платье такое когда-то было. Пообрывали их, бригадир вместе с водителем катка на Игнатъева чего-то долго смотрели, хотя он тоже нормально, как и остальные, цветы рвал и ругал их за убытки в сдельной работе.

Назавтра сквозь асфальт кипарис пророс. Стоит себе, темный, будто пыльный, высоченный. Как ракета темно-зеленая. До самого вечера с ним возни было, а Игнатъева в вагончик мастер зазвал и дал ему там в приказе расписаться. Расписался Игнатъев, что по служебной необходимости трест благоустройства переводит его на наружный ремонт жилых помещений, подлежащих капитальной реконструкции.

И с утра вышел Игнатъев на новую работу. Там дом такой стоял – с колоннами и скульптурами в виде читающих юношей и девушек, а также спортсменов с ракетками и мячами. Не особенно старый – лет на пять всего старше Игнатъева, но уже потребовался ему капитальный ремонт. Игнатъев залез на фасад дома и стал старую штукатурку счищать – была у него и такая профессия. Отработал день, вечером с новыми сослуживцами познакомился, а поздно ночью сидел на кухне у открытого окна, дышал душным воздухом и вспоминал. Вспоминал, как днем, в жаркой дымке, пыль летела от штукатурки и прохожие обходили стороной этот ремонтирующийся дом, потому что дощатый забор от пыли не помогает. Вспоминал еще, как этот дом был раньше хорош, когда Игнатъев был еще мальчишкой и жил неподалеку, в своей коммунальной комнате, а в школу ходил именно мимо этого дома с колоннами и скульптурами и смотрел, как из дома выходили его соученики и как их провожали мамы. Много вспомнил Игнатъев, в том числе и то, чего не вспоминал никогда.

А если бы вы подошли к нему, сели рядом у кухонного окна и спросили, мол, чего ж ты, Игнатъев, только сейчас задумался насчет этого дома и почему в детстве ты мимо него ходил, а внутри никогда не был, а сейчас по всем его выломанным внутренностям лазаешь, но нет тебе в этом радости, – ничего бы он на это вам не ответил. Так, плечами только пожал бы, мол, не знаю, не думал. Будто так и надо, что вы к нему на его кухне ночью подсаживаетесь.

Наутро же по всему фасаду разрослись березки, и немаленькие. Листья светлые, сами белые, а по одной даже белка скачет. Ну прораба, конечно, чуть инфаркт не хватил, однако постепенно оправился. Березки потом осторожно спилили, чтобы кладку не повредить.

Игнатьева, сами понимаете, перевели на другую работу. В трест озеленения. Там ему очень нравится, хотя коллектив в основном женский. И он этой новой своей профессией – садовник – очень дорожит. Но старается по вечерам не задумываться. Потому что был уже случай: посидел вечерком наедине с собой, а наутро на месте клумбы с розами и калами начал дворец культуры пробиваться. Ужас, что творилось!.. И едва Игнатьев свою любимую работу не потерял.

А дворец был – загляденье... Из старинного здания переоборудованный. Снесли, конечно. Там клумба должна быть, какой еще дворец!

В тот день Игнатьев как домой пришел – сразу спать лег. А назавтра спокойно пошел на бульвар, на свою приятную работу: стричь газон и вдыхать милый запах стриженной травы. Так он с тех пор и работает. И явлениям природы только радуется, не задумываясь и не удивляясь.

4

Вот что действительно вызывает у Игнатьева удивление – так это нетоварищеское отношение некоторых к женщинам. Сам Борис Семёныч, не затрачивая много энергии на достижение жизненных успехов – ну там, гараж во дворе или кабинет с кондиционером, – сохранил, видимо, столько сил души, что их вполне хватает на почти постоянное нежное уважение к гражданам слабого, а тем более прекрасного пола.

При этом он отнюдь не ловелас, бабник, донжуан или сердцестрадатель – отнюдь. А просто любит смотреть на этих милых людей, наблюдать их внешность – женщины, даже и немолодые, чем-то всегда напоминают ему детей. Да и жалеет соотечественниц Борис Семёныч, видя жизнь их...

Может, поэтому в его присутствии и женщины себя чувствуют лучше, и выглядят симпатичнее обычного. Оживляются, в общем...

Однажды, еще в молодости, поехал Игнатьев отдохнуть на юг, в пансионат "Селезень" для работников городского хозяйства – в первый и последний раз, не понравилось ему на юге. И произошла там на его глазах странная история.

Три оболтуса лежали на пляже неподалеку от Игнатьева. Пляж во второй половине дня был почти пуст. Большая часть отдыхающих еще стояла в очередях за кефиром, салатом витаминным, борщом московским и шницелем рубленным. Те, кто успел пообедать, валились на топчаны и просто на песок, и отчаянное четырехчасовое солнце освещало их скуку.

– Бабу, что ли, слепить, – сказал первый оболтус, в темных очках с железной оправой.

– Лепи, – сказал второй, с длинными, уже немодными, смыкающимися на кадыке баками. Казалось, они удерживают шевелюру, чтобы не улетела от ветра.

Третий повернулся на живот, подпер голову руками и стал смотреть, как первый лепит бабу из песка.

Песок он старательно смачивал водой, которую таскал в купальной шапочке. Постепенно стала вырисовываться лежащая на спине женщина в натуральную величину...

Процесс ваяния близился к концу. Оболтусы говорили о женщинах и ржали.

– Все бабы, – сказал первый оболтус. – И вообще. Чего им надо? С ней хоть как. Ты ей то, а она это. Гад буду. Ты ей цыпленка табака, а ей тюльки-мульки. Ты ей кримплен, а ей траливали. Ты ей...

– Абсолютно, – сказал второй, в функциональных баках. Он был согласен, что ни одной верить нельзя. Третий повернулся на правый бок и принял позу махи обнаженной.

– Не поверите, мужики, – продолжал первый, – у меня две жены было. Одна до того дошла – страшное дело. Я ей, значит, хам. Говорит, не считаешь меня за человека. Пошляк. Я говорю, ты-то кому нужна? А она по новой. И все такое. И вторая такая же. Как поженились – и пошло. Это самое. Верите, мужики?

– Ну, – сказал второй.

Солнце шпарило, будто захода вовсе не предвиделось. Исполненная в песке женщина подсыхала. Первый оболтус перехватил летящий в ее направлении мяч и обратился к играющим в волейбол с бескомпромиссной речью.

– Попадете в стацию, – сказал он, – дисквалифицирую до потери трудоспособности.

И, покончив таким образом с угрозой, продолжал беседу с друзьями.

– Где же у баб логика, отцы? – спросил он. Все надолго замолчали – видимо, задумались над вопросом. Между тем небо постепенно покрылось белыми пузырями облаков – как от ожога. Игнатьев внимательно смотрел на женщину в песке и сочувствовал ей – кому понравится вот так лежать и дурь всякую слушать?..

Дунул ветер, пошевелил песчинки, и оболтусам показалось, что женщина улыбнулась. Неуверенно хихикая и пожимая плечами, третий сказал:

– Лыбится, а?..

Первый оболтус плюнул в песок. Второй посмотрел на высказавшегося и, обернувшись к первому, сообщил:

– Перегрелся.

Друзья веселились. Но следующий порыв ветра был уже по-настоящему силен. Полетел, взвихрился песок, стали таять, превращаясь в шуршащие барханчики, волосатые торсы и загорелые тела, и через секунду там, где они сидели, остались только три небольших холмика.

А женщина встала, отряхнула плечи и пошла к воде – туда, где за буйками, спасательными катерами и дальним сухогрузом прыгал на волнах красный шар солнца.

Игнатьев смотрел ей вслед, и вдруг ему показалось, что вокруг головы у нее возникло сияние. Но, будучи человеком атеистических взглядов, он сразу понял, что это просто светлые волосы, сквозь которые пробиваются солнечные лучи.

Одного жаль – цвет глаз он не разглядел. А ведь могло быть, что зеленоватые.

Хотя никаких сожалений ни тогда, ни после Игнатьева, конечно, не испытывал. Он вообще о женщинах до поры до времени думал не больше, чем о мужчинах, то есть вообще не думал. И только ближе к сороковнику вдруг стало его что-то прихватывать, особенно по утрам, в свободное время между домом и работой. Закроет за собой дверь, закурит первую – и задумается...

5

Утром после Игнатьева соседи не любят ездить в лифте, потому что имеет он дурной обычай в лифте курить. В маленьком прямоугольном пространстве от запаха сигарет "Ява" обычному человеку мгновенно перехватывает дыхание и вспоминаются различные неприятные жизненные эпизоды.

Людмиле Пироговой, среднего роста привлекательной шатенке с небольшим лишним весом, сегодня не повезло. Дождавшись на своем девятом этаже лифта и автоматически задав его распахнувшимся дверям вопрос "Вниз?", она с опозданием обнаружила в кабине курящего Игнатьева. Он, понятное дело, оккупировал вертикальный транспорт на своем десятом, да тут же и засмолил – может, даже и спичку на пол бросил, с такого станет. Но что же было делать бедной даме? Пришлось войти и отправиться в совершенно неподобающей компании в краткое, но неприятное путешествие.

Спуск этот продолжается приблизительно полторы минуты, время небольшое. Однако и его хватит нам, если силой воображения сумеем оказаться тут же – ничего, кстати, страшного,

лифт вполне вмещает четверых. Итак, вы вниз? Едем... В углу стоит Игнатъев, автора прижало к нему, читатель держится ближе к очаровательнице, она же жметя к плотно сдвинувшимся дверям. Едем. Игнатъев руку с сигаретой опускает вертикально вниз, так что пепел едва не попадает автору на брюки. Курильщик же этого не замечает. Все его старания – избавиться от неудовольствий, связанных с его вредной привычкой, спутницу.

Мы же тем временем рассмотрим его и постараемся понять, отчего вдруг такая деликатность.

Росту наш объект скорее высокого, хотя по нынешним спортивным и акселерированным временам это не диво, – метр восемьдесят. Волосы у него скорее русые, хотя, если внимательнее взглянуть, обнаруживается среди них много седины, что и придает куафюре в целом чрезвычайно симпатичный пепельный оттенок – в сочетании с густотой растительности очень неплохо. Глаза из-под слегка спадающего описанного чуба смотрят скорее голубые, хотя кому придет в голову рассматривать глаза Игнатъева? Морщины вокруг рта глубокие, а подбородок довольно тяжелый – как раз такое сочетание вы, читатель, наверное, встречали на изредка попадающихся рекламных фотографиях в залетных журналах. Знаете: сидит такой одинокий, немного романтический, немного иронический мэн, очень мужественный, очень небрежный, в изумительной такой рубашке и предлагает не обходиться без ликера "Куантро", пожаловать в край "Мальборо" либо на худой конец сверять время только по "Картье"... Впрочем, на лице Игнатъева вам эти морщины, и подбородок, и прочее все говорит не об одиночестве и романтической, а наверняка о лишних часах вблизи одного из отделов продовольственного магазина либо о иных приметах малоинтересного образа жизни. Вы-то знаете, вас не проведешь...

И лишь автору, в силу его давнего знакомства, это говорит об ином. О детстве вблизи Смоленской площади, о папе, возвращающемся непременно с мороженым тортом на отлете, чтобы не замарать служебного габардина, о маме, отдающей все оставшееся от реставрации сельхозвыставки время хорошему чтению и юному Игнатъеву, о детстве с самокатом на лучших немецких подшипниках и с дачным волейболом на мокрой хвое. Глубоко в глубоких морщинах прячется катастрофический конкурс в стали и сплавах, легкое крушение, незаметный сначала поворот, от которого и пошло – строительные войска, жена Тамара, угарно дымящийся асфальт и сам Игнатъев в оранжевом жилете, потом еще что-то, неувлекательный какой-то труд и, наконец, зеленый бульвар, газонокосилка с бензиновым кашлем, осенняя посадка робко вздрагивающих липок, обрезка кустарника, иногда красное вино с малознакомыми друзьями, семейная жизнь в некогда новом, а сейчас уже давно привычном микрорайоне.

Вот таким знает Игнатъева автор.

Что же до нашей спутницы, то она, как уже сказано, росту среднего, мило полноватая, каштановолосая, одета скромно, но с большим вкусом и информированностью, взгляд же у нее... Черт побери, какой, однако, взгляд! Нет, вы только взгляните в ее глаза. Всё там: и смех нераздавшийся, милый такой смешок, и грусть невылившаяся, прозрачное такое сожаление о чем-то, и доброта, ласковая такая, глядящая вас по небритой щеке приязнь, и ум, ясный, не первой молодости прекрасный женский ум, и... Чего только нет! Всё, решительно всё, чего ищет любой мужчина в женском взгляде, есть. И главное – преданность.

Не какая-либо конкретная преданность, направленная, например, на мужа или семью в целом, на начальника или определенного некоего человека, а обобщенная. Вот такая: "Ты только пойми... Полюби... а уж я... увидишь... до самой смерти... и даже после... и даже пьющего... и больного... всегда... и буду ждать поздно вечером, и увидишь в темном окне еще более темный силуэт в знакомом халате, и поймешь..." Примерно такая.

Нет на свете мужчины, которому было бы безразлично такое выражение глаз. А если не повезет и не встретишь, то заводишь эрделя, или шотландскую овчарку колли, или все едешь к знакомой, к одной и той же, на Рогожку, хотя понимаешь, что нечего ездить, там такого взгляда не дождешься...

Однако иллюзия всё это – вы уж поверьте автору, ему лучше известно. Автор ведь сам практически только что эту Людмилу Пирогову выдумал, кому ж еще ее знать! Известно же о ней достоверно следующее: тридцать восемь лет назад родилась где-то между Волгой и Уралом, в своем классе слыла не только самой красивой, но и самой умной, поскольку собиралась по окончании поступать ни мало ни много в столичный иняз, и поступила-таки, и нашла-таки себе поблизости, в родственном вузе, своего Пирогова, и получила все, на что не только глазами – всем своим складненьким телом смотрела, что в мыслях много раз примеряла, что – неясное еще, но предчувствуемое – снилось ей там, в бело-пыльном ее городке. Все получила: поездки, туфли "Саламандра" – друг вашей ноги, комплект, известный под именем "неделька", и прочее все – да что мы будем перечислять, поди, сами все знаете не хуже нашего. И преданность, тот самый ласковый огонек в ее глазах все тлел и тлел, и этот огонь сначала согрел несчастного – даже он поддался – Пирогова, а после начал полегоньку его поджаривать. И понял Пирогов постепенно, что жить ему дальше предстоит рядом с этим тлением и всю жизнь поддерживать его, подбрасывая в качестве топлива то, что мы уже было начали выше перечислять, да при-томились.

Да бог с ним, с Пироговым, пока не о нем речь, да и не будем мы ему сочувствовать, поскольку, как позже выяснится, если пока еще не ясно, они с Людмилой два сапога пара – ну и ладно. Получили свое и радовались бы... Так нет, мало им! И тлеет, тлеет предательский огонек, и спешат на его свет неразумные путники, и ходит, и дышит под ногами пружинящая трясина...

Не станем забегать вперед. Тем более что лифт наш скрипит и трясется уже мимо второго этажа, и, кроме запаха дыма от недодушенной руками Игнатьева сигареты, носятся в этом тесном объеме страсти, уже, думаем, столь же нам ясные, сколь и естественные. Догорает сигарета "Ява", занимается на коварном огоньке Людмилиных глаз и сам курильщик, вспоминает свой необъяснимый ночной шепот "Люся...", мучается от неправильных своих чувств. Легким движением управляет Людмила Пирогова тоненькое свое, трогательного какого-то фасона платье, перекидывает на плече поудобней ремешок от косо висящей сумочки, готовится к выходу в мир – и понимает, что в конце концов с этим мужиком договориться можно будет. Продемонстрирует она Пирогову еще раз свои возможности...

А мы, любезнейший читатель, выйдя из этого прокуренного табаком и едва ли не прожженного страстями лифта, можем лишь посмотреть вслед нашим героям, разошедшимся, естественно, сразу в разные стороны, и подумать немного о превратностях любви.

6

Жаркий день покори́л город, собрал с горожан дань неутолимой жаждой и звоном в ушах да потихоньку стал сворачивать дела, полагая, что душная ночь достойно примет эстафету.

Игнатьев тоже отработал свое и стал собираться домой. Он сложил все орудия производства, а именно: здоровенные кривые ножницы, лопаты с черенками, частично обломанными и дотемна отполированными игнатьевскими ладонями, толстый шланг, разевающий в нескольких местах изломы и порезы, сквозь которые при поливе насаждений била острая водяная пыль, привязанный к длинной палке клинок для досягания высочайших точек дерева и, конечно, вершину технической мысли, поставленной на службу озеленению, – мотокосилку для газонов, бензинодышащее чудовище с ручками, напоминающими известную картинку "Крестьянин Тульской губернии, идущий за сохой. 1902 год".

И все это Игнатьев спрятал в маленький и на вид очень уютный домик, возведенный именно для этих целей в начале бульвара. В домике пахло пылью, но Игнатьев этого уже давно не замечал – притерпелся. Там же, в домике, до того, как запереть его на тяжкий висячий замок, Игнатьев переоделся и сполоснул руки. Он сменил свой рабочий, оставшийся с преж-

ней службы по благоустройству города оранжевый жилет на практичную клетчатую рубашку с сильно расплюснутыми в прачечной пуговицами, прочее же в гардеробе оставил без изменений, то есть мохнатую не по сезону кепку с несколько потемневшим козырьком, джинсы подольского дивного шитья с клеенчатой этикеткой "Олимп" и сандалеты зеленой как бы кожи на розовой подошве из липкой резины. После чего он вышел на свежеработанный им же бульвар и присел на скамью – перекурить, отдохнуть, подумать о следующих действиях.

По бульвару шли люди, но их Игнатьев практически не замечал. Он вообще большей частью не испытывал интереса к людям, так как их поступки, мысли и желания казались ему совершенно однообразными и, более того, полностью совпадающими с поступками, мыслями и желаниями самого Игнатьева, лишь с несущественными поправками на обстоятельства. А что может интересного быть в поступках, мыслях и желаниях самого Игнатьева? Так думал он, вернее, не то чтобы думал, но ощущал.

Закуривши привычный табак любимой фабрики "Ява", закрытой, говаривают, на ремонт, Игнатьев расслабился. Ему было приятно, что и во время ремонта популярного предприятия он имеет возможность наслаждаться его продукцией благодаря хорошим и прочным отношениям с киоскером, занимавшим угол бульвара. В этот момент к Игнатьеву можно было подойти и окликнуть его: "Боря!" – и он ответил бы, хотя обычно на свое имя почти не реагировал, более склоняясь к официальному обращению.

Тут к нему и подошли, но никак окликать не стали, да и подошли, собственно, не к нему, а к скамейке, им занимаемой. Подошла женщина, присела, открыла сумочку, порылась в ней, вытащила мятую пачку незнакомых Игнатьеву сигарет, заглянула в ее нутро и, еще более смяв, швырнула пустую заграничную тару в урну. Тогда Игнатьев...

Впрочем, хоть бы мы сейчас и стали говорить, что он – не суетясь, но быстро – вынул сигареты, выдвинул их из пачки легким щелчком, предложил, корректно склонив голову, и мягко улыбнулся в ответ на благодарность, – так вы бы все равно не поверили. Поэтому расскажем все, как было.

Игнатьев, откинувшись на скамейке и далеко вытянув перед собой ноги в зеленой обуви римского фасона, а руки закинув за спинку скамьи, пускал дым в небо и не делал более ничего. Женщина же оглядывалась, хмурилась, явно страдая, но к соседу прямо тоже не адресовалась.

Женщина была вот такая: на взгляд Игнатьева – девчонка лет двадцати семи, из тех, что сдуру курево переводят, носят мужские штаны, покроем напоминающие те, что носил любимый артист игнатьевской юности, трикотажные неприличные майки на голое тело и прочую глупую и несамостоятельную ерунду, от которой главным образом и происходят все безобразия в современной жизни. Чем такие женщины занимаются и живут, Игнатьев не знал, но предполагал худшее.

А на самом деле женщина была вот такая: тридцатипятилетняя владелица собаки, незамужняя, с дочкой от одного мыслящего себя талантом негодяя и с постоянными огорчениями от одного приходящего – точнее, приезжающего – друга, живущая на скромную зарплату старшего преподавателя, однако непоколебимо и вовремя приобретающая с помощью разного рода ссуд и займов как джинсы свободного покроя в многочисленных молниях, так и тишорты, поскольку позволяет состояние фигуры. В общем, несдающаяся.

Игнатьев был вот какой: на взгляд женщины – обычный алкаш из последних, магазинный стоялец, рвань и так далее. С такими людьми женщина если и разговаривала по хозяйственной надобности, то громко и подбирая простые слова.

А на самом деле Игнатьев был вот какой: из старинной московской семьи, арбатский уроженец, не поступивший, как мы уже неоднократно сообщали, в эпоху легендарных конкурсов в Институт стали и сплавов и с тех пор утративший ко всякой ерунде интерес. Больше всего Игнатьев любил зелень, то есть флору, грустную музыку и молчаливый отдых, а выпивал

крайне умеренно, в последнее же время – в связи с уединенной службой – и вообще почти не выпивал. Так, от случая к случаю...

Все же женщина решилась и обернулась к нему с пока еще не высказанной, но очевидной просьбой. Курящих на бульваре вокруг, как назло, больше не было и даже в отдалении не появлялось. И Игнатъев тоже как бы заметил томление соседки, и сам, до слов ее, за "Явой" полез.

И произошло явление контакта.

Женщина увидела: у Игнатъева тонкое лицо, слегка опущенные наружные уголки глаз, что ей всегда нравилось, из-под кепки – удивительного пепельного цвета густые волосы, едва начавшие сесть, и резкий прямой рот, что ей когда-то, в давней юной жизни, нравилось особенно. А тряпки... А в конце концов, что тряпки?! Чепуха...

Игнатъев же увидел: женщина не доска, как все эти молодые, а вполне хорошая, и с фигурой под бессовестной кофтой, а глаза и вообще желто-зеленые, именно какие Игнатъев предпочитал. Более того, как раз в последнее время мучали его точно такие глаза, принадлежащие очаровательной соседке. Правда, в тех глазах имелся еще и дополнительный призыв, в этих же – ничего, кроме простого вопроса и начитанности, но все же...

Что же до тряпок ее безобразных... А, да леший с ними, с тряпками! "Это роли не имеет, тряпки все эти" – вот что мог бы в данный момент сказать Игнатъев.

Но он не это сказал, а, достав пачку и протягивая ее даме, сказал вот что:

– Дать в зубы, чтобы дым пошел?

И приветливо улыбнулся. Эту шутку он специально вспомнил, она ему давно была известна, еще с армии. Сейчас ему хотелось понравиться этой женщине, которая оказалась ничего, симпатичная, хоть курящая и одетая не по-людски, и он решил показаться ей веселым и добрым. И поэтому пошутил.

После чего явление контакта прекратилось.

Вот уходит по бульвару женщина в некультурных штанах и майке, уходит по бульвару симпатичная женщина с желто-зелеными глазами, уходит по бульвару женщина, тихо бормоча: "Ужас, какой ужас..." Вот сидит на скамейке Игнатъев, неожиданный ветер его обдувает, сидит себе Игнатъев и неизвестно почему расстраивается. Не знает он, что ему дальше предпринять. То ли с куревом решительно завязать, по примеру соседа Пирогова – а мы, кстати, заметим, что и действительно неплохо бы. То ли... Нет, не знает Игнатъев, что ему предпринять.

В самом конце бульвара мелькает ее фигура и сворачивает куда-то. Наверное, туда, где она живет. И Игнатъев тоже идет домой.

7

Итак, тот жаркий день покори́л город, собрал с горожан дань неутолимой жаждой и звоном в ушах да потихоньку стал сворачивать дела, полагая, что душная ночь достойно примет эстафету.

И Пирогов решил закончить сегодня служебные занятия пораньше. Приведя в порядок манжеты слегка утратившей от жары свежесты полотняной рубашки популярного в последние сезоны стиля баттон-даун, подтянув узел тонкого галстука и разместив аккуратнейший этот узел – на ощупь – точно под хорошим чистым подбородком, он снял со спинки стула клубный синий пиджак – нетленная одежда серьезных людей, – подхватил окованный металлом чемоданчик и, доброжелательно попрощавшись с сослуживцами, покинул офис. Благо что удача последних лет и природное умение себя поставить дали ему заветную возможность не испрашивать позволения начальства на такую маленькую вольность, как сорокаминутное сокращение рабочих часов...

Отчаянно растущий год от года столичный трафик оставил Виталия Николаевича Пирогова вполне хладнокровным. Уверенной рукой направляя неприметный ноль одиннадцатый по кратчайшему маршруту к цели, Виталий Николаевич думал о своем. Он и вообще не имел привычки в медленно движущемся потоке часа пик глазеть по сторонам. Давно рассеялись иллюзии, и непростительным мальчишеством считал Пирогов тайные вздохи вслед "датсунам" и "саабам-турбо", робкое заглядыванье на слоновью грацию доживающих свой век "континенталей" и "импал". А ведь есть еще такие поверхностные люди среди автолюбителей, есть! Но Пирогов давно уж предан волжской компактной машине, а ему видней – поездил...

Но о чем же думает водитель, стоя в длинной очереди перед разворотом? О чем может думать на исходе знойного послеобеденного времени Виталий Николаевич Пирогов, заведующий весьма значительным сектором одного из немаловажных и представительных учреждений, женатый человек доброкачественных средних лет? Где он сейчас мысленно пребывает, пока ухоженным ногтем постукивает по обтяжке руля?

Вряд ли мы могли бы когда-нибудь это точно узнать, поскольку в жизни Виталий Николаевич сдержан и неукоснительно следует давнему поэтическому совету – помните? – молчи, скрывайся и таи все думы и мечты свои или что-то в этом роде... Но в данной ситуации есть у нас такая возможность: к счастью, Пирогов от начала до конца, как, впрочем, и все остальные в этой истории, выдуман автором. И потому мысли его и чувства нам совершенно открыты.

Думает он вот о чем.

Там, куда сейчас направляется автомобиль, в скромном однокомнатном невыплаченном кооперативном жилище ожидает его счастье. Счастье имеет любимый пироговский рост в сто шестьдесят семь сантиметров, размер сорок шесть (европейский – сорок два), светлую простую прическу без пошлых парикмахерских ухищрений, зеленоватые глаза и дивный характер. Такой характер вырабатывается к тридцати пяти годам по мере перемещения иллюзий из сферы личных отношений в область новых театральных событий и свежих публикаций в толстых журналах. Немало способствует формированию этого характера также умеренный заработок старшего преподавателя на языковой кафедре в сочетании с бассейном для десятилетней дочки, овсянкой для двухлетнего полуспаниеля и собственными принципами в отношении элегантности современной женщины.

Пирогов ценит как физический облик, так и нравственные достоинства человека, дочка же сегодня должна быть у бабушки. Так что полтора часа тихой радости Виталию Николаевичу гарантированы. Без предварительного звонка.

Следует ли прямо указывать, что Пирогов едет не домой? Думается, не следует. Тем более что дома жена Людмила еще и не ждет его, так как рабочий день не закончен.

И начались полтора часа, и прошли как одно мгновение.

Отрадная прохлада царил в однокомнатном раю, ласково рокотал город за плотными шторами из недорогой, но со вкусом выбранной ткани, силы поддержал Пирогов салатом из отличного редиса, счастлив он был, и не было его счастьем конца, пока не кончились полтора часа, как миг. Грустно смотрел полуспаниель, как повязывает желанный гость галстук, как надевает пиджак, и еще грустнее смотрел на хозяйку...

Между тем Пирогов, уже стоя в прихожей, вдруг хлопнул себя по лбу, давая этим жестом понять, что главное-то он и забыл! Немедленно и в спешке – ведь время уже поджимает, ничего не поделаешь – был настезь распахнут плоский чемоданчик в металлической оправе, непрямой спутник, чуть ли не альтер эго. И действительно, как же это Виталий Николаевич запамтовал! Именно сегодня утром, прибыв из неблизней, но интересной командировки, презентовал благодарный сослуживец товарищу Пирогову некую – совершеннейшие гроши, что вы, Виталий Николаевич, как не стыдно! – приятную мелочь, очень, говорят, сейчас там модную. Железную такую штучку, то ли для женских волос, то ли еще для чего... Увольте, не разбирается автор в этих приспособлениях, хоть убейте, и потому далее детализировать не может. Ну

здесь зашелкивается, а тут продевается... Да знаете вы наверняка, небось, жена-то уже давно ищет такую!

– Это тебе, – сказал Пирогов, протягивая штучку подруге. Не станем утверждать, что при этом он ожидал изъявлений благодарности бурных или еще чего-нибудь эдакого. К чему? Интеллигентные ведь люди, да и некогда уже... Но того, что последовало, он ожидать никак не мог.

А все проклятая спешка. Кабы не она, не стал бы бедняга полностью распаковать кейс, вспомнил бы, поди, что ни к чему это в данной ситуации. И не скользнул бы взгляд милой женщины на дно делового вместилища, и не обнаружил бы там еще одну точно такую штучку, только с иной пластиковой отделкой – не зеленоватой, а, скорее, табачного цвета...

Ну а с другой стороны – виноват разве Пирогов, что и к глазам Людмилы идут цвета именно этой гаммы? Виноват разве в устойчивости своих вкусов? Виноват разве в том, что сослуживец фантазию не напряг?

И вообще – что тут такого? Жена ведь все-таки. Неужто ей сувенира не положено...

Да ведь в жизни как получается – виноват, не виноват, а попал судьбе и женскому чувству под руку – получай...

Вот и едет теперь В. Н. Пирогов домой, резко меняет рядность, чуть ли не вступая в конфликт с ПДД, чуть ли не создавая опасную ситуацию на дороге. И уж не барабанит он пальцами по рулю перед светофором, не торопит события, а просто мысленно клянет на чем свет стоит неудачный сегодняшний день и потирает медленно принимающую нормальный цвет щеку.

Однако постепенно он успокаивается и на подъезде к дому уже думает только о путях и методах перепланировки своей квартиры в соответствии с лучшими мировыми образцами. От этого важного для жизни дела Пирогова отвлечь ерундой нельзя. Характер у него твердый, можно сказать, железный. Он и сам это знает...

Тем временем хозяйка нечистопородного пса ликвидирует последствия давно уже лиш-них слез с помощью компакт-пудры, быстро, но, по привычке, неотразимо одевается и выходит на бульвар утомить нервы. Полуспаниель остается дома и смотрит еще грустнее обычного.

На бульваре все скамейки заняты, только на одной есть место рядом с мужиком в зеленых сандалиях. Она решительно направляется туда. Покурить, что ли, подумать...

Однако хватит. Дальнейшее вам уже известно.

8

Жаркое – с первых дней – стояло то лето, и надоедливая тополиная вата липла к шее, лезла в рот, внедрялась в волосы и так далее, пока, успокоившись наконец, не превращалась в грязно-серую, валенкоподобную оторочку обочин. Дни, несмотря на увеличивающуюся в соответствии с указаниями календаря продолжительность, неслись все быстрее, дребезжа на поворотах плохо пригнанными минутами и часами. Рубашки прилипали к спинам, и летнее безумие страстей овладевало взмысленными жителями мегаполиса.

В обед Игнатьев по обыкновению пошел в пельменное заведение "Галактика" с товарищами по работе – втроем. Взяли пельменей двойных, сметаны отдельно, в общем, нормально. Стали за угловой стол, за едой пошла беседа: Игнатьева слушали.

Вспомнить ему было что: прошлой осенью предпринял Игнатьев заграничное путешествие по путевке. Путевку предложили в местном треста, Игнатьев посоветовался с семьей и поехал.

Накануне вместе с женой съездил в магазин "Ратмир", купил хороший костюм румынского пошива и новую кепку-букле, запасся, как рекомендовали, напитками для общественного пользования и для сувениров зарубежным друзьям, положил в карман наряду с необхо-

димыми документами список пластинок для дочери и цветов шерсти, желательных для жены, и отбыл в составе группы членов профсоюза.

В вагоне по дороге туда Игнатъев много курил, стоя в нерабочем тамбуре, и глядел в окно на чистые, но скучноватые поля и заграничных земледельцев, пашущих по-старому, на живой тяге, но в фетровых шляпах. Но бывал и в купе, помог трем симпатичным женщинам из города Владимира, с которыми оказался соседом, разместить поклажу, угостился курицей из фольги. Проехали мимо станции. На станционном здании была черная непонятная надпись, наверное, название, а под надписью прогуливался заграничный пассажир в пиджаке и шарфе. На улице было, судя по всему, прохладно, и Игнатъев подивился закаленности этого иностранца.

Потом-то он привык и к иностранным детям с голыми синими коленками, и к молодым ребятам в одних свитерах, идущим попеременно с дамами в меховой одежде. Игнатъев привык к непрерывным автобусным переездам; ранним завтракам практически всухомятку, одна колбаса да повидло, если не считать чая в бумажных мешочках, нитки от которых торчали из толстых чашек, напоминая почему-то канцелярию; привык к посещениям различных музеев, мемориалов и храмов с вокзального типа скамьями, привык и к не особенно понятной речи местной экскурсоводши, объясняющей с первого автобусного сиденья через микрофон:

– С левой мы видим – да? – старинная центр маркт плятц – да? – обращайтесь внимание с правой тоже фабрикация тяжелый машинный прибор – да? – прямо не видно – да? – место, где стоял тоже дом знатного компониста – да? – Ехан Себастиан...

Игнатъев ходил вместе с симпатичными женщинами из Владимира в торговые центры, посещал специализированные магазины и все время вежливо помогал дамам носить их сумки. Дамы же за это поспособствовали ему в приобретении искомой шерсти отличного цвета беж, а пластинок для дочери не нашлось, и Игнатъев ограничился покупкой для нее молодежных брюк, которые примеряла одна из спутниц, худенькая. Себе же он нашел отличную вещь – очень красивый чемоданчик из двухцветной пластмассы, в котором можно носить завтрак на работу: два гнезда для вареных яиц, помещение для соли и одного куска хлеба, пластмассовые же вилка и ножик в гнездах. Вообще-то он никогда завтрака на работу не носил, питаясь в указанной пельменной, но вещь очень приглянулась ему по сердцу, да и стоила недорого.

Впрочем, по воскресеньям, когда иностранная торговая сеть не работает, да и по субботам после обеда организованный туризм вливался в русло культуры. И вот так получилось, что однажды Игнатъев оказался в самом центре какого-то города внимательно слушающим экскурсоводшу относительно собора справа и завода химической фабрикации слева. Шел мелкий дождь, мимо по своим делам спешили иностранцы, не обращая внимания на небольшую, но плотную группу игнатъевских спутников, а он покурировал тихонько в кулак и слушал про исторические памятники и основные отрасли промышленности. Тут одна из женщин группы перебила экскурсоводшу вопросом, какого века этот храм – она всегда этим очень интересовалась, – и Игнатъев отвлекся.

Он огляделся по сторонам и рядом с храмом заметил одного человека. Одет был этот человек в странноватый, на взгляд Игнатъева, и очень маркий белый комбинезон. Впрочем, здесь в таких комбинезонах можно было увидеть многих рабочих. В руках у человека в комбинезоне были большие кривые ножницы, с помощью которых он срезал негодные ветки с деревьев в скверике вокруг храма. Ветки падали на землю, человек тут же наклонялся и, поднимая очередную ветку, относил ее в аккуратную кучку.

И Игнатъев не заметил, как группа его куда-то ушла, а он оказался один возле этого человека. Дождь продолжал моросить, а человек продолжал работать. Работал он вроде бы медленно, но дело подвигалось неплохо.

Игнатъев стоял, смотрел. Где-то очень далеко от этого храма и сквера росли деревья на бульваре, и Игнатъеву захотелось туда, хотя отпуска еще не прошло и половины, захотелось на этот бульвар, захотелось надеть старую кепку и приступить к обязанностям, то есть взять в

руки кривые ножницы и начать срезать ненужные ветки с деревьев на том далеком бульваре, где провел он – если считать чистое время, как в хоккее, – больше половины своей жизни...

Игнатъев полез в карман, вынул пачку "Явы" и протянул ее человеку с ножницами. Одновременно он вспомнил многое из школьных времен, вспомнил, что когда-то на том самом бульваре он не обрезал ветки, а гулял в группе детишек, которую водила Эльза Гавриловна, вспомнил тут же почему-то отца еще в военной форме со стоячим воротом и мать в косо сидящем беретике на стриженных сине-черных волосах, собрал все слова Эльзы Гавриловны и сказал:

– Битте... гут... сигарет гут... битте.

Человек улыбнулся, кивнул, но при этом одновременно покачал отрицательно головой и сказал что-то быстро и длинно. Игнатъев только три слова и понял:

– Наин... данке... арбайт...

– Вообще, что ли, завязал? – спросил Игнатъев. – Молодец тогда, есть, значит, сила воли. Ну так постоим, поговорим вообще...

– Наин, – опять улыбнулся и покачал головой иностранный товарищ. – Наин вообще. В частности, мол, найн, во время работы. Арбайт, мол, ниht раухен. Извини, значит.

Так примерно и сказал. И что удивительно, Игнатъев его понял. Ему и самому хотелось бы в тот момент деревьями заниматься, а не с прохожими посторонними языком трепать – будь он, конечно, на бульваре своем, а не на заслуженном культурном повышении уровня...

И вот теперь, когда уже приехал Игнатъев давным-давно домой, и шерсть жене уже понравилась, и штаны дочери подошли, сам путешественник стоял в пельменной за высоким мраморным столом и делился с друзьями впечатлениями. И впервые с тех пор, как вернулся, вспомнил описанный эпизод. Раньше-то все больше приходилось рассказывать насчет цен, чтоб им...

Замолчал Игнатъев, задумался, потом махнул рукой и рассказа больше не продолжал, как ни просили.

– Да ладно, чего там, – говорил он неизвестно кому, уже на бульваре, ремонтируя проклятый карбюратор газонокосилки. Служивцы вдали рубали лозу, так что ни одного слова, скорей всего, не слышали. – Ну живут и живут, нормально все. Храм там есть один... Большой, в общем. В высоту. А покурить, между прочим, на работе некогда! Вот вам и мохер – весь до копеечки.

И замолчал окончательно. Реанимированная малая механизация наконец взвыла и истерически загрохотала, Игнатъев вытер черные ладони травой и продолжил косьбу. Прохожие воротили носы от его бензинового помощника, и потому он, как правило, не видел их лиц. Но если бы он мог в них взглядеться, да если б к тому же он обладал даром угадывать по этим лицам внутреннее состояние, а он этим даром нисколько не обладал, кстати, и, кроме того, если бы он мог точно определить собственные чувства и сопоставить их с чувствами окружающего человечества – а он этого совершенно не мог, честно говоря, и если бы все открывшееся он мог выразить в словах!.. Странная прозвучала бы фраза.

Вот такая примерно: "Чудеса! Во дает народ... Одна любовь в голове, а вкалывать кто же будет? Там человеку покурить некогда, а тут давай им любовь – и все дела..."

Правда, для справедливости скажем, что это сетование он полностью отнес бы и к себе, хотя физическое его воплощение продолжало управляться с косилкой.

9

Сейчас нам, испытанный читатель, предстоит дело утомительное – описание грез. Хотя... Все зависит от того, какие грезы и чьи. Вот один человек как-то высказал соображение: мы потому так любим романы о путешествиях, что обязательно там имеется перечень взятых с собой припасов либо описание счастливо выброшенного на берег набора необходимейших

вещей. Ну астролябия, конечно, серные спички, Библия в кожаном переплете, форма для отливания дробы...

Нечто подобное сейчас и последует, так что, может, и не разочаруетесь.

Виталий Николаевич Пирогов, нам уже неплохо знакомый, томился без сна. Супруга его Людмила, по женскому обыкновению, умаявшись за световой день, сладчайшим образом заснула, а к мужчине сон не шел.

Он лежал на ставшей вдруг жесткой простыне, ощущая каждую складку спиной, смотрел прямо вверх, в потолок, угадывавшийся в сизом воздухе ночной комнаты, и мечтал. Ну почему, думал он, все это так трудно, почти недостижимо? Разве чего-то сверхъестественного он жаждет? Нет, вполне обычного, даже стандартного. Виденного не только в дивном полиграфическом исполнении, но и в обольстительной натуре – например, во время последнего выезда был он по служебному делу в одном доме...

Значит, прежде всего холл. Плетеная корзина для зонтов... Может, слоновья нога? Нет, архаично, лучше корзинка. Итак, корзинка для зонтов, рядом зеркало в бамбуковой колониальной оправе. На вешалке ничего – лишь одинокая твидовая панاما да рядом на полу косо прислонившиеся друг к другу охотничьи боты... Затем гостиная. Золотистая дымка гардин, за которыми просматривается близкий сад... Откуда садто взялся на девятом этаже? Не до этого Пирогову, грезит Пирогов. Видит он лампу на высокой резной – точнее, точеной – ножке, и абажур на лампе в мелкий цветок, и полужесткое кресло вблизи лампы, отливающее вишневой полировкой, и обширный диван с подушками, славно разбросанными по его рифленой поверхности, и репродукцию Поллака над диваном, и надкаминное зеркало, и удивительный золоченый столик, отдающий римской колесницей из неудачного фильма, и сплошной шерсти покрытие пола, и горшки с цветами аспарагус, и в дальнем углу помещения крутая с разворотом лестница...

Доходит до этой лестницы Пирогов, и тут начинается в его уме неприятная и отталкивающая суета, с которой не то что заснуть – жить невозможно. Куда лестница-то? Известно, на второй этаж, секунд, так сказать, флю. Там спальни, оттуда – если обратиться к традициям кинодурмана – тихо стекает загадочная струйка крови, там проводят ночные часы хозяева и гости порядочной жизни. Ах! Не помешал бы второй этаж жилью Виталия Пирогова! А где его взять? Конечно, если купить кооператив где-нибудь, да в этот кооператив тех самых... как их... Игнатьевых, что ли, да пробиться здесь через перекрытия, да воздвигнуть упомянутую лестницу с перилами на точеных столбиках... Эх, жизнь!

Кровать с обтянутой кожей спинкой. Низкая подсветка. В левом углу фотографии приоткрытая в ванную дверь, а там и он сам, в кимоно, совершающий вечерний туалет, а под одеялом, натянув его хитро до подбородка... Конечно, лучше бы... Ну а хотя бы и Людмила! А что? Зато интерьер...

Вот лежит спиной на мнующихся простынях наш Пирогов. Вот упирается его взгляд в потолок со швом посередине, между двумя плитами. Вот мечтает он о двухуровневом житье-бытье – много повидавший в разъездах товарищ. Был он, кстати, и там, где сосед его, Игнатьев, встретил человека в белом комбинезоне, не курившего за работой и тем произведшего неизгладимое впечатление на простодушного служителя зеленых легких города. Бывал там Пирогов, как же, и неоднократно! И собор колючий видел, и человека в комбинезоне, не исключено, мог встречать...

А запомнился все же лишь интерьер жилища делового партнера.

Осудим ли мы его? Кто знает... Разве мы против двухэтажных квартир? Не против, хорошая вещь. Не против мы также и каминов вместе с надкаминными зеркалами, и корзины для зонтов не вызывают у нас отвращения – правда, читатель?

У нас только одно но: насчет жизни и смерти. То есть если помирать настанет время, то как? Там ведь без этажей... Тогда зачем же все это? Временно, значит? Стоит ли? А? Как вы считаете, Виталий Николаевич?..

Не спит Пирогов. Поднимается по лакированной лестнице, целует на ночь чайлдов в детской, входит в вожделенную спальню, откидывает крайне неудобную, но общепринятую перину... Эк его разбирает! Никак не заснет.

А и вы бы не заснули, если б приехали в свое время поступать в труднодоступный институт из эдакой тьмутаракани, где все местные власти в одном доме помещаются, и поступили бы, и закончили, и отъездили бы свое, и насмотрелись бы всякого, и получили бы, что положено, соответственно рангу, а жить продолжали бы в двухкомнатной, заурядной, полезной площадью тридцать два и шесть десятых. Посмотрел бы я на вас...

Плохо Пирогову Сгинул бы в сей миг этот Игнатъев, не имеющий, по сути, и вкуса к правильной жизни, сгинул бы... Так нет, продолжает занимать верхнюю жилплощадь, по праву воображения принадлежащую Пирогову. А тот лежит без сна и мечтает. Такая, друзья мои, жизнь...

Короче, все ясно.

Он столько шел, и все вверх, и неотступно, и не сдаваясь, и платя по всем счетам, и тратя себя из расчета нынешнего курса жизни год за два – или сколько там? – и ничего не жалея, и в полном, хотя и нелегком, взаимопонимании с супругой Людмилой, и держа себя в руках, и опять не жалея ничего... Неужто не заслужил? Паршивенького, обыченького двухэтажного жилья? По ширпотребовскому журнальчику? Кто это – Игнатъев? Что это? Да ведь он троечник вечный, да ведь он здесь ни при чем!.. Не на улицу, конечно, в другую приличенькую квартирку, но эта-то ему зачем?!

Плохо Пирогову Может, и не так, как мы здесь изображаем, но примерно в этом роде. А точнее и глубже в мысли Пирогова не проникнешь. Никому это не под силу. Потому что Пирогов о своих мыслях не пишет. А те, кто пишет, – они на Пирогова не похожи. Принципиально. Иначе писать бы не могли.

В общем, пусть теперь Пирогов встанет, примет что-нибудь успокоительное, да и заснет – пора.

Однако Виталий Николаевич нашим советам не внимает, а решает по-своему: смотрит на часы и, обнаружив, что до запретного времени еще тридцать две минуты, решает задобрить нервы гармонией – музыкой успокоиться. Людмилу-то теперь и пушкой не добудишься...

10

Более всего, как известно, Игнатъев любит сидеть вечером в июне на балконе и молча отдыхать после рабочего дня.

Разные у людей бывают пристрастия. Некоторые год за годом ездят в отпуск на юг, и именно в одно и то же полюбившееся им место под названием Лазаревское; иные предпочитают дивную природу средней полосы, обозреваемую с байдарки, быстро несущейся в светлых струях лесной речки; третьи превыше всего ценят комфорт и сдержанность гостиниц на балтийском берегу... Игнатъеву же символом заслуженного очередного отдыха представляется только такое вот сидение на балконе, плывущем в теплом и темном воздухе, словно небесный корабль, приписанный к семнадцатому микрорайону. Зной, накопленный в стенах и асфальте, в людях и небе того огромного города, в котором Игнатъев прожил всю свою жизнь, не торопясь, смешивается с прохладным вечерним ветром и, облагороженный запахами разнообразной зелени, деликатно напоминает Игнатъеву о дневных трудах на солнцепеке. И, глядя перед собой в темноту, мягкую и слегка пыльную, как старая бархатная скатерть, Борис Семёнович Игнатъев испытывает счастье.

Он думает и о неизбежно приближающейся поре очередной обрезки веток, и о необходимости завтра же укрыть под навесом затаренные в бумажные мешки и давно нуждающиеся в укрытии удобрения, и о том, что у газонокосилки к вечеру опять засорился карбюратор. Но эти служебные мысли не омрачают его духа, напротив, представляют приятный противовес теперешнему занятию Игнатьева, известному с давних времен под именем "дольче фар ниенте". Именно благодаря незначительному мысленному эху любимого труда Игнатьев и чувствует полноту отдыха.

Впрочем, это мы только так описываем – что он там чувствовал и о чем думал. А на самом деле он чувствовал вот что: "Нормально сижу... так жить можно... тепло, и мухи не кусают... косилка накрылась... а так всё путем... холодок и не пыльно..." И не надо спешить с иронией по поводу его не совсем складных, как обычно, формулировок. Ведь и вы тоже – вот читаете сейчас это сочинение, много вроде бы чего думаете, а если точно записать, получится: "Нормальное сочинение... в смысле, повесть... то есть рассказ... или роман?.. не очень, конечно... но ничего... только непонятно, о чем... а вообще, ничего..." Так что не будем удивляться мыслям Игнатьева.

В общем, сидит себе Игнатьев, значит, на балконе и наслаждается погодой. Вспоминает о разных смешных – в основном уже вам известных – эпизодах своей жизни. Вспоминает, конечно, как он жил еще на старом месте, в центре, и думал по окончании десяти классов получать высшее образование, как служил в строительных войсках, а потом огорчил родителей ранней женитьбой без профессии, как работал в различных организациях на небольших должностях, нередко связанных с переноской тяжестей... В общем, много всего было в его жизни до того, как он сел эдак на своем балконе, закурил сигарету "Ява" явского же изготовления и приступил к наслаждению.

Однако многообразие жизни проявляется и в этот краткий момент: в то время как Игнатьев сидит на балконе и наслаждается, в квартире этажом ниже сидит его сосед и страдает. Не на балконе, правда, но при распахнутой балконной двери. Соседа, конечно, фамилия Пирогов, и страдания его нам также известны. Такое уж, видно, это время – лето, что всех страсти терзают, распускаются в тепле махровым цветом неутоленные желания.

Ведь и Игнатьев тоже не в нирване находится, а, наоборот, несмотря на чудесную расслабленность, смутно жаждет. Не то возвращения в детство ищет его душа, не то сопереживания в желто-зеленых глазах. Да и глаза-то неясно чьи: то ли соседской жены, то ли вовсе незнакомой курящей дамочки... В общем, страдает душа, хотя страдания эти почему-то не мешают Игнатьеву наслаждаться вечерней природой. Как говорится, печаль моя светла.

Иное дело сосед его снизу. Вот, казалось бы, чего не хватает человеку? Поступил, как мы докладывали давеча читателю, в институт хороших отношений, закончил полный курс этого института, в аспирантуре обучился, диссертацию защитил, поездил туда-сюда, получил должность достойную и квартиру под Игнатьевым, жену – союзницу всех начинаний, привез в квартиру разные бытовые предметы, научился к темно-синему пиджаку носить только светло-серые брюки и вишневый галстук, купил музыкальный центр высокого качества воспроизведения звука... А терзается человек, горячей слюной наполняется рот, и не идет сон. Неподходящий вроде бы поздний вечерний час, но просит мятущийся дух красоты, и Пирогов ставит на мягко вращающийся диск пластинку. Может, рассеются видения двухэтажного пэрадайза, уйдет горечь...

На пластинке написано название произведения, автор и исполнители. Пирогов эту надпись отлично понимает, поскольку у него как раз немецкий язык был основной. Фамилия автора знакомая, у Пушкина еще о нем написано, Виталий Николаевич хорошо помнит, отправил его приятель, этого автора. Пирогов автору сочувствует, поскольку по своей работе хорошо знает, каково таких друзей иметь. Имя дирижера напоминает имя одного знакомого товарища. Дирижер, небось, тоже с Кавказа откуда-нибудь, только вот "фон" при чем?.. Название же

произведения Пирогову кажется странным. Кляйне... все ясно. Нахт... Так, понятно. А вот все вместе никак не сочетается. Что значит – маленькая ночная музыка? Как это – маленькая музыка?.. Но пластинка записана на хорошей фирме, значит, стоящая вещь. И Пирогов опускает тонарм.

На верхнем балконе Игнатъев слушает музыку, и кажется ему, что все дальше летит его балкон, улетает из семнадцатого микрорайона неведомо куда, и вспоминает Игнатъев еще и еще раз тот старый двор в центре и себя в черных сатиновых трусах, белой тенниске из вискозы, в тапочках со шнурками, обернутыми вокруг щиколоток, и в тубетейке, вспоминает мать в креп-жоржетовом платье и отца в костюме из трико "Ударник", и вспоминает почему-то стихи, которые читал, наверное, тогда же: "По небу полуночи..." А дальше не помнит точно. Дальше почему-то вспоминается засорившийся карбюратор косилки. И Игнатъев снова закуривает погасшую сигарету "Ява" и удивляется, что явская ведь сигарета, а сырая. "Откуда сырость?" – думает Игнатъев, чувствуя, как капли удивительной этой влаги текут по щекам. Желто-зеленые глаза появляются вдруг перед ним во тьме, а может, это просто цветные круги плавают – так бывает, когда плачешь в темноте... Он вытирает щеки и, слушая музыку, доносящуюся снизу, думает: "Ну я даю..."

Пирогов же поднимает с помощью микролифта тонарм и снимает пластинку. Скучная оказалась, хоть и фирма.

Будем ли мы удивляться, что, слушая одно, слышат разное наши соседи? Не будем, наверное. Они ведь и думают о разном, и, оказавшись в одних и тех же по случаю краях, видят и запоминают разное. У них только и есть общего – межэтажное перекрытие: как уже было сказано, потолок Пирогова для Игнатъева пол. Вот и все. Все ясно.

Мучающийся бессонницей Пирогов врубает, теперь уже через наушники, кассетник. Хоть побалдеть...

А Игнатъев идет спать.

11

Никто, в том числе и герой повествования, Борис Семёнович Игнатъев, и даже сам автор не смог бы дать удовлетворительного и в достаточной степени логического объяснения многим маловероятным событиям из жизни упомянутого героя. Правда, впоследствии, когда само это сочинение благополучно придет к концу и минует еще какое-то время, в течение которого Игнатъев совершит целый ряд неожиданных и опрометчивых поступков, доказывающих в совокупности бесспорную жизненную силу и естественность человеческой сущности Б. С. Игнатъева, – впоследствии одна неглупая женщина выскажет интересное соображение относительно природы чудес, происходящих с ее Борей. Женщина эта, задумчиво наблюдая суету своего пса, тычущегося в каждое дерево на бульваре, скажет следующее (дословно): "Он, то есть Боря... может, он самый добрый человек... ну, предположим, в мире... а что для меня мир?.., те, кого я знаю... он не зависит от внешних событий, и в этом смысле... в общем, с кем же еще и происходить чудесам, как не с ним?.."

И, поднося огонь к ее сигарете, автор задумался: может, действительно, в этом все и дело? Вот мы говорим о человеке – добрый, мол, и даже просто чудесный. Чудесный... Чудеса... Может, это уже теперь действительно связано между собой: редкие качества характера и сверхъестественные события, происходящие с тем, кто таким характером обладает?

Может быть.

Во всяком случае, еще об одном таком событии из жизни Игнатъева, видимо, стоит рассказать, прервав ради этого даже основную лирическую линию.

В предпраздничный день прошедшей зимы Игнатъевы всей семьей пошли гулять.

Влажный ветер, возвещавший раннюю оттепель, деликатно остужал измученную тщательным бритьем кожу игнатьевских щек. Жена Тамара шагала ровно и непреклонно, дочь шла хмуро, сам же Игнатьев давал волю мужским наклонностям, то есть хватанул вовсе не нужного по погоде пива, причем семейство смиренно ожидало на расстоянии прямой видимости, пока он пребывал в специальном загончике, в подробностях рассмотрел несколько иностранных и одну отечественную новую автомобильную марку, положительно оценив дизайн последней и без комментариев пожимая плечами возле первых, некоторое время наблюдал тихий экстаз тех, кто увязывал счастливо добытые елки, – в общем, отдыхал.

Тем временем жена и дочь негромко и непрерывно делились впечатлениями по поводу встречающихся в толпе экстравагантностей, решительно не одобряя неумение некоторых находить соответствие между собственными внешними данными и предложениями моды. Особенно отрицательно отзывались они о модном покрое дамских брюк, уродующем даже и очень хорошую фигуру. Себе таких брюк они согласились не заводить ни под каким видом.

Таким образом, вся фамилия вышла на площадь.

По площади гуляли хозяева и гости города, а также зарубежные друзья, переговаривавшиеся между собой слишком громко – впрочем, все равно довольно неразборчиво.

А на самой середине площади работал среди штативов и стендов с образцами своего искусства фотограф. И в фотографии этом Игнатьев немедленно и с большим удивлением – хотя, казалось бы, чему тут особенно удивляться? – признал своего одноклассника и даже друга детства Сережку Балована. Черт возьми, совершенно не изменился Сережка, хотя здорово облысел, отпустил загнутые книзу усы и стал носить несвойственные ему в те давние небогатые времена фасонистые вещи – замшевую тужурку и молодежные истертые штаны...

После долгих и искренних приветствий, после того, как познакомил Игнатьев старинного приятеля со своими домочадцами, после того, как тот убрал в кожаный сундучок на длинном ремне все принадлежности профессии, свернув таким образом ранее обычного свой рабочий день, друзья отошли к металлическому барьерчику и закурили. Чтобы не мешать сентиментальным речам, женщины отправились на осмотр близлежащих витрин.

– Ну, – сказал Борька Игнатьев, – а ты как?! Как вообще, Серьга? Семья есть? Жизнь как, а? Пиво пьешь?

Они сильно затягивались, поэтому сигареты быстро догорали, и товарищи немедленно прикуривали новые, умело прикрывая огонь, пока собеседник осторожно тыкался сигаретой в сложенные ладони.

Говорить им было совершенно не о чем, потому что двадцать лет миновали и дела у каждого шли всё так же, как и все эти двадцать лет, что они не виделись. И, прикуривая, а затем и затягиваясь, они только качали головами и вздыхали: "Да-а... подумать надо... идем, а он на площади, щелкает себе... ну, и как оно, вообще-то? Жизнь?"

– Ты кем пашешь? – спросил фотограф. – Чего, говорю, ваяешь? Ты ведь в сталь и сплавы поступал, правильно я помню? Видал, память?!

– По озеленению я, – сказал рабочий цеха озеленения. – По подрезке деревьев и всякому уходу за зелеными легкими нашего города. Понял? Двести выходит, понял? И полный порядок. А ты, значит, щелкаешь? Исторический-то окончил или так?

– Щелкаю, – ответил фотограф. – Не кончил я исторический.

И друзья замолчали уже надолго, поняв, что обижаться друг на друга за эти вопросы им не стоит. Что ж тут поделаешь...

Тем временем прекрасная часть рода Игнатьевых завершила осмотр и присоединилась к беседе.

А вот сейчас я вас всех, Игната моего родню, и запечатлею, – радостно сообразил фотограф и засуетился, распаковывая снова все камеры, штативы и объективы.

– Что ж вы беспокоитесь, – сказала было жена Тамара, но Игнатъев неожиданно для самого себя перебил супругу.

– Правильно решаешь вопрос, Серьга, – сказал он, сам даже удивляясь своим словам, поскольку совсем не собирался фотографироваться минуту назад. – Правильно, щелкни нас на память, чтобы остался сувенир от такой приятной встречи.

Сергей Балован уже все приготовил, взгляд его стал острым и даже неприятным, как у охотника. Этим взглядом он окинул группу, которую представляли собой Игнатьевы, быстро и грубовато переместил их в соответствии с каким-то своим внутренним планом и прижался на мгновение лицом к камере. "Так... левее... подбородок выше и на меня, на меня..." Он бормотал, и щелкал, и снова перемещал объекты съемки, и опять щелкал... Наконец он выпрямился, и Игнатьевы свободно задышали. Через минуту они уже прощались.

И тут только Игнатъев рассмотрел по-настоящему образцы, выставленные на вновь развернутом складном стенде, – видно, фотограф решил все же еще немного поработать после ухода друга. Игнатъев рассматривал эти фотографии и удивлялся все больше и больше. Кого только он там не увидел! Здесь был весь их с Сережкой класс, и сосед Игнатьева с нижнего этажа Пирогов, ответственный товарищ, и жена Пирогова Людмила, исключительной привлекательности женщина, и множество других знакомых Игнатьеву людей, например, посетители ряда пивных загонов, постоянные троллейбусные спутники, товарищи по труду в коммунальном хозяйстве и еще, еще, еще – соседи, знакомые, земляки и соотечественники – все, все, все!

И все они улыбались. И не успел Игнатъев и слова сказать, как появилась тут же еще одна фотография – улыбающееся изо всех сил его собственное семейство.

– Чего это все у тебя улыбаются? – спросил Игнатъев старого товарища. – Я, может, не хочу улыбаться. Мне, может, и так хорошо.

Но ничего не отвечал фотограф, укладывая уже невесть каким образом проявленные, отпечатанные и отглянцованные снимки в конвертик из черной бумаги, вручая этот конверт Игнатьеву, – молчал, робко почему-то глядя другу своему в глаза.

А спустя некоторое время, уже возвращаясь в метро с прогулки, достал Игнатъев подарок приятеля, взглянул на улыбающееся лицо жены, на хмуро улыбающуюся дочь, перевел взгляд на них натуральных, дремлющих, и вдруг почувствовал, что не будет ему плохо жить на этом свете, коли есть, живут старые друзья, склонные снабжать улыбками человечество. И он сам улыбнулся ничуть не хуже, чем на неправдивой фотографии.

В то же время фотограф С. Балован, возвращаясь в свою пустоватую квартиру по другой линии, полез в сильно потертый кофр и достал свежую фотографию. Насупленно глядел с нее Игнатъев, сурово и устало смотрела жена Тамара, хмурилась еще более обычного дочь. Он мелко изорвал контрольный отпечаток и сунул клочки в глубину кофра, где уже скопилось немало такой рваной бумаги.

До самой своей конечной станции он мирно спал, и лицо у него было грустное и горькое. За окнами идущего по открытому участку вагона проносились прекрасно подстриженные Игнатьевым, голо-черные сейчас деревья, и в щели дверей влетал уже очень прохладный ветер. Кофр стоял на полу, и на его дне перекачивался рулончик еще не бывшей в работе пленки, на котором рукой мастера было написано: "Для улыбок детских. Чувст. 65 ед."...

Вот какие случаи время от времени происходили в жизни Игнатьева, подтверждая высказанную выше женскую мысль о чудесах, следующих за добрыми людьми. Может, поэтому в прежние времена, обращаясь с просьбой, так и начинали: "Люди добрые..." Постучат у порога – откройте, мол, люди добрые. Попросят материально помочь – то же самое обращение. Хорошая была манера. Сейчас не принято как-то.

Между тем жизнь себе шла, и к Игнатьеву, как положено, приехали родственники жены из Калужской области. Погостить, посмотреть большой город, приобрести кое-что. Без телеграммы приехали, по-родственному.

Приезжали они, правда, не особенно часто, да хоть бы и часто – Игнатьев ничего против не имел. Всякий их визит напоминал ему историю его женитьбы, в которой было много бурных страстей, особенно со стороны родителей Игнатьева, и много решимости с его собственной стороны. Вспоминать все это ему почему-то было приятно, хотя за минувшие с той уже неблизкой поры годы жена Игнатьева Тамара давала ему несколько поводов если не для сожаления о былой принципиальности, то для размышлений. Да и он ей... Впрочем, о прописке жены на жилплощадь родителей, а впоследствии на собственную он и до сих пор не жалел.

Однако сантименты сами по себе, а на работу идти надо. Так что Игнатьев надел любимую кепку в давно ушедшем футбольном стиле "эй, вратарь, готовься к бою" и отправился на очередные мероприятия по плану подготовки зеленых насаждений к зиме. Жена Тамара также убыла в свой пищеблок детского комбината. Поговорила с родней кратко, но содержательно – и бегом, только духами запахло. Дочь пожалала плечами и ушла в свой восьмой класс.

А родственники – тетка Зинаида и племянник Виктор – позавтракали на кухне взятыми в дорогу помидорами и крутым яйцом, купленным на вокзале в составе специального дорожного набора, да и также двинулись по своим приезжим делам. У Виктора имелся маленький план метро, удобно складывающийся в гармошку, тетка же более полагалась на помощь ближних.

Да, едва не забыл вам их официально представить и портреты обрисовать. Зинаида Ивановна с этого года находилась на заслуженном в сельхозартели отдыхе, однако продолжала трудиться в животноводстве. Глаза у нее голубые, лицо коричневое, куртка на ней нейлоновая, финская, зеленого цвета, на ногах байковые тапочки в клетку. Ну сумки, конечно. А Виктор, будучи допризывного возраста, только что закончил курсы водителей и в ожидании судьбы так просто живет. Волосы у него светлые и длинные, как у звезды эпохи расцвета хард-рока, на руке уже имеется по глупости сделанная надпись "Витя", брюки он носит типа "техас", только цвета очень синего и подбитые внизу "молниями" – так что несведущему наблюдателю может показаться, что под штанами у Вити еще одни, бронзовые.

Вот такие у Тамары Игнатьевой родственники – в общем, симпатичные. А теперь, познакомив читателя с ними подробно, мог бы автор так же подробно описать и день, который они провели, начав его завтраком в игнатьевской квартире. Но делать этого не станет за недостатком места и времени. Потому что иначе пришлось бы описывать и целый ряд чрезвычайно удачных приобретений, сделанных Зинаидой Ивановной, включая и купленный в Даниловском универмаге электрический фен, заказанный соседской дочкой Нинкой. Пришлось бы вспомнить и многих приятных людей, с которыми Зинаида Ивановна познакомилась, совершая покупки, и провела немало приятных минут у прилавков, на лестницах, ведущих с этажа на этаж огромных предприятий торговли, между металлическими барьерами, установленными вежливыми земляками Зинаиды Ивановны, носящими аккуратную форму, и так далее. Пришлось бы также упомянуть о поездке Виктора, целью которой были зеркало и ветровое оргстекло для мотоцикла "Ява", поездке на дальнюю окраину города, не увенчавшейся, к сожалению, успехом. О его пребывании на выставке, где он не пропустил ни одного интересного павильона и даже пива выпил на свежем воздухе – и неплохого, надо сказать, пива...

Но опустим всё это. Тем более что сейчас это уже все позади и гости города отдыхают.

Зинаида Ивановна сидит на скамейке. Скамейка стоит вблизи выбрасывающего кристалльную струю фонтана, в отдалении виден большой памятник, а вокруг тетки Зины ходят люди разных цветов кожи. Один из них – вполне, кстати, белый, немолодой и с фотоаппара-

тами поверх несолидного жакетика – присаживается рядом и заводит с Зинаидой Ивановной разговор. "Комфортабль!" – говорит он радостно, показывая на тетки-Зинины тапки. Она бы и поддержала беседу из вежливости, да сил нет. Зинаида Ивановна придвигает поближе сумки и продолжает отдых.

Виктор тем временем присел на каменную ограду у подземного перехода. Рядом сменяются молодые люди, ожидающие здесь своих избранниц, и девушки, беседующие между собой на разные тайные темы. Одна из них Виктору даже понравилась – худенькая, правда, но красивая. Хотел было Виктор с ней познакомиться, и вопрос для начала выбрал – насчет спортивной обуви, на ней надетой. Такое Виктор и сам бы охотно купил, если бы знал где. Но постеснялся спросить – может, они в городе про это не говорят?.. А девушка покурила и пошла себе.

...Вечером, проделав немалый путь в метро и на автобусе, гости возвращаются домой, к Игнатьеву. Семья в сборе. На кухне происходит ужин. По поводу приезда родственников Игнатьев выпивает с женой, теткой Зиной и племянником Виктором. Дочка ужинает быстро и идет в комнату смотреть передачу с популярной певицей. Игнатьев тем временем спрашивает тетку и племянника о впечатлениях. Виктор рассказывает об успехах космической и транспортной техники, Зинаида Ивановна параллельно обсуждает с Тамарой проблемы, касающиеся товаров повышенного спроса.

– А скафандры ихние видел? – спрашивает Игнатьев.

– Видел, – говорит племянник, – сильные скафандры.

– А пиво возле пруда пил? – продолжает интересоваться Игнатьев.

– Пил, – говорит Виктор, – сильное пиво. А в пруду колос стоит. Во! И золотого цвета!

– Да, – соглашается хозяин, – сильный колос.

Жена Тамара уже стелет гостям в маленькой комнате. Игнатьев выходит на балкон покурить.

Вокруг балкона темно, а напротив светятся окна длинного девятиэтажного дома. Дом этот похож на входящий в порт богатый корабль – не хватает только несущейся с палуб романтической музыки, пальм на набережной да белеющих одежд приморской публики. Но Игнатьев никогда не бывал в портах, и это сравнение ему в голову не приходит. Он почему-то вспоминает свой старый дом в центре, зеленый двор, глухие удары – футбол в сумерках, запах скорого ужина, призыв матери из резко распахивающегося окна: "Боря! Борис! Отец пришел..." Эй, вспоминает он, вратарь, готовься к бою... Я тоскую, вспоминает он, по соседству и на расстоянии... Барон, вспоминает Игнатьев, фон дер Пшик... Новый год, вспоминает он, затягиваясь, порядки новые...

– Виктор, – окликает он, – а ты по центру гулял?

– Гулял, – говорит Виктор, выходя на балкон и завистливо косясь на сигарету, при тетке курить он стесняется. – Сильный центр. Проспект там есть – вообще.

– Я там жил раньше, – говорит Игнатьев. – Маленький такой был дом. Представительство там теперь. А у нас вода во дворе была...

Виктор молчит. Ему не верится, что где-то там, рядом с невероятным проспектом, был дом с водой во дворе. Не особенно ему понятно и насчет представительства.

Постепенно все засыпают. Перед самым сном Игнатьеву чудится, что во дворе раздаются глухие удары самодельного мяча и кто-то окликает его по имени. И он не может понять, почему он засыпает со странной досадой на гостей. Хотя одно понимает хорошо – обидно: едут, и едут, и едут, и не знают, что это за город, в котором жил и живет Игнатьев. Город, который Игнатьев любил всю жизнь так, что в конце концов добился взаимности и стал любим – от имени, наверное, и по поручению всего этого дивного города – одной его гражданкой... Но об этом не здесь...

Настала, наконец, и ночь – блаженное время отдыха и видений. Сейчас, сейчас, нетерпеливый читатель, много чего произойдет в подсознании действующих лиц, выльется в быстро скользящие призраки снов... Вот уже закончились телепередачи, и самые испытанные зрители отключили зарябившие голубые и разноцветные экраны. Вот уж и проживающие в квартале представители творческой интеллигенции – люди ночного склада, так называемые совы, – устало откинулись от рабочих столов, потянулись и с завистью прислушались к сонному дыханию домочадцев. Вот уже и чей-то противоугон завыл, и хозяин, как обычно, выскочил на улицу лишь через двадцать минут – то ли сон имея самый крепкий в районе, то ли слишком долго надевая тренировочные штаны и пижамную куртку. Вот уж и два, половина третьего... А Игнатьев все бодрствует, все скручивает простыню под своим беспокойным телом в мятую тряпку, все беспокоит супругу Тамару неосторожными движениями – к счастью, без последствий: сильно устает бедная Тамара за день в пищеблоке. Знакомую фотографию улыбающихся близких видит в мутноватой тьме Игнатьев, то есть не в деталях, натурально, а так, прямоугольничком в металлической окантовке, на стене напротив тахты. И милый этот снимок, казалось бы, должен внести покой в его душу, утешить, как обычно бывает, сознанием, что и семья неплохая, и друзья есть старинные и способные ради дружбы на чудеса – но нет! Нет покоя, нет утешения...

Бессонница одолела Игнатьева, и неподалеку ее причина: сквозь пол, через мелкую паркетную доску, пронизывая бетонную плиту перекрытия, бьют невидимые молнии игнатьевских страстей. Ах, Люся-Людмила!.. Эх, взгляд, какой взгляд! Отлично понимает автор муки Игнатьева, и сам бы ночей не спал из-за такого взгляда, кабы не имел соответствующего опыта, причем чисто негативного. А у Игнатьева Бориса Семёновича такого опыта нет. Он как женился в двадцать два с половиной, едва отслужив срочную, на Тamarочке, так и вся его лирика локализовалась. И летят, летят невидимые молнии с десятого на девятый. И уже сам он не понимает, в кого они нацелены: то ли конкретно в соседку душевной внешности, но, увы, замужнего семейного положения, то ли так, вообще... с зеленоватыми глазами...

Но что еще интересней – навстречу игнатьевским взрываются разряды мощности и вовсе невиданной. То есть, если бы их в специальную установку да пару физиков к ним – вполне бы желания и помыслы Пирогова могли производить плазму, а то и вызывать термоядерную реакцию, которая в естественных условиях идет, как известно, лишь на Солнце.

Не спит, не спит Пирогов, тоже страдает. И ничуть, я вам доложу, не меньше, хотя предмет страданий, на ваш взгляд, наверное, куда менее достойный. Черт-те что – квартира двухэтажная!.. Да сравнишь ли это с чистым чувством?

А вы у Пирогова спросите.

Во всяком случае, по интенсивности его страсть куда как мощнее игнатьевской. В чем мы сейчас и убедимся. Вот уж смежают усталые веки соседи-страстотерпцы, вот уж и забытье, как вдруг!..

Терпел-терпел бетон, держалась-держалась паркетная доска, преграждала, сколько могла, водоэмульсионная краска, да и не выдержали. Неопишущим, неземным светом желаний осветились две квартиры, расположенные одна точно под другой, и страшные, противоречащие здравому смыслу вещи начали в них твориться. Трещит и выламывается у Игнатьевых пол, образуется в нем отверстие, озаренное той самой лампой под цветочно-ситцевым абажуром, а в отверстии уже видна лакированная лестница с резными перилами – вот она, мощь пироговских желаний, одолел-таки! Словно ветром сдувает Игнатьева и ничего не соображающую спресонок Тамару с их постели, да и не их это уже постель, а стильное чиппендейловское

ложе, выбранное по каталогу известных Сирса и Робека, – ломит Пирогов, побеждает... Рвутся сквозь позорно сдавшийся пол вождения могучего Пирогова и немедленно превращаются в белые туалетные столики, плетеные стулья и клетчатые покрывала в сельском голландском стиле – да, не устоять против Пирогова.

Ну а с другой стороны? А с другой стороны вот что: тоже и Игнатьев не лыком шит. Приподнимается вдруг в воздух Людмила Пирогова – это несмотря на некоторый лишний вес, заметьте! – и парит все ближе к потолку, словно натура для нереалистической живописи или будто в кадре из какого-то переусложненного фильма, парит и подтягивается все выше, хотя и сопротивляется отчаянно. На кой ей сдался Игнатьев этот с его любовью?! Может, ей и в шалаш прикажете с таким милым? Как бы не так... И рухнет она на законное ложе, отчасти собственной волей пересилив Игнатьева. Другое дело глазками посмотреть, это всегда пожалуйста, особенно если бы садовник этот благодаря глазкам покладистей был бы в квартирном, Людмиле столь же, сколь и супругу, небезразличном вопросе. А навеки?! Нет уж...

Рушится на законное место Людмила также и потому еще, что Игнатьев в это время ослаб – совестно стало.

Замужем она все-таки, хоть и не нравится Игнатьеву этот Виталий, сони-грюндиг... И Тамарка тоже не чужая, дочке вот пятнадцать... Эх, беда... Ослаб Игнатьев.

А Пирогов все крушит. Дым, серой несет, воеет кто-то, тени мелькают – в общем, полный набор псевдолитературного пижонства, всей этой чертовщины, всего этого эпигонского как бы мистицизма. И среди безобразия этого, среди полного торжества темных сил лезут и лезут снизу вверх пироговские шмотки, выстраиваются на отведенных местах и позируют уже для рекламной съемки. Плохо дело.

Правда, и Игнатьев снова на угрызения плюнул – любовь может на все толкнуть – опять плавает в воздухе прекрасная Людмила, а сквозь перекрытие прут тем временем троянские шкафы... Тяжко длится ночь, свет не то луны, не то прожектора с соседней стройки проникает в окна, и в льдистом этом свете клубятся кошмары, мучают бедных героев. Так что появляется у автора соблазн кашлянуть, что ли, либо за плечо потрогать – разбудить, вернуть к реальной, куда более спокойной действительности. Жалко их, не чужие все-таки. Открываются полные сонных ужасов глаза, бессмысленно смотрят секунду в комнатную сизую мглу, и постепенно возвращаются люди в естественные обстоятельства.

– Том... Тома! Ты спишь?

– А?! Что?.. Фу, испугалась, даже сердце зашлось... Ну чего ты? Спи, что ты не угомонишься никак...

– Ладно, сплю.

– Людка, а Люд... Не спишь?

– Сплю. Мне снится, что я летаю.

– А мне снится, что... Ну да это чепуха. Надо им обмен предложить. Как ты думаешь, Люд?

– Я не думаю. Я сплю. Я летаю во сне...

Всё. Спят. И мы довольны. Женщины должны летать во сне – от этого улучшается цвет лица. Пирогов хотя бы во сне должен наткнуться на стены – иначе он окончательно поверит, что нет ему преград. Пусть спят – утром все пойдет естественным путем.

Сияет над кварталом оптимистически голубое небо раннего нерабочего утра. Доброжелательно освещена дощатая хоккейная коробочка, украшенная как бы рекламными надписями, и внутри коробочки, по-летнему пыльной, сутуло бродит бело-рыжий кот... Сияние льется также и на детскую площадку, застроенную типовыми избушками на курьих ножках, деревян-

ными крокодилами и частоколами для культурных игр детского населения, и на ряд автомобилей личного пользования, робко выстроившихся в неприметном углу, причем особенно веселые блики сверкают на давно забытом судьбою и небрежным хозяином, вросшем спущенными шинами в землю "запорожце", и на Игнатьева, вышедшего в неясном состоянии духа покурить на свежем воздухе.

Оккупируемая в более позднее время старушками скамейка сейчас полностью в распоряжении курильщика. Уже через какой-нибудь час здесь будут выноситься бескомпромиссные суждения об образе жизни и моральном облике проходящих мимо по субботним делам жителей, а пока Игнатьев использует скамейку для мирного занятия – подставляет лицо солнцу, выпуская навстречу ласковой радиации вредный никотиновый дым. Ничего не поделаешь – дурная привычка...

Смутные и неопределенные мысли Борис Семёныча крутятся, конечно, вокруг странных сновидений. Неловко ему и перед женой Тamarой, и перед соседями, и перед гостящей родней, и перед самим собой, главное, поскольку больше-то никому, понятно, сны его не известны. Неловко – что он, мальчишка какой-нибудь, чтобы во сне такую несолидную ерунду видеть? Летаящая пироговская Людмила снова появляется перед его мысленным взором, и он даже встряхивает головой – тьфу, безобразие! И затягивается еще старательней обычного.

С другой стороны, ему даже приятно вспоминать дурной свой сон. Что-то такое с ним делается в последнее время, что-то его поднимает в выходной день ни свет ни заря, гонит из дому, заставляет быстрее обычного расходовать пачку привычной "Явы" – что-то, к его собственному удивлению, столь же и тревожное, сколь и сладостное – во как! И сны отсюда, и неожиданная резкость – правда, немедленно получившая достойный отпор – по отношению к жене Тамаре, и странное чувство в верхней части тела, слева, хотя никаких болезней, кроме обязательного радикулита, у Игнатьева не имеется...

С третьей же, если так можно выразиться, стороны, совсем даже и не в соседке дело – вот что интересно! То есть нравится ему соседка, чего мозги пудрить, и очень даже нравится, но... Как бы это сказать... Не совсем она...

И поскольку лично Борис Семёныч собственными силами не может сформулировать свое ощущение, как ни сдвигает морщины на, увы, немолодом уже лбу, придется ему помочь. Не может же автор его бросить в таком состоянии на произвол сюжета! Так вот, если бы речь шла о нежном юноше, склонном к чтению современных поэтов и размышлениям о своем значении для судеб человечества, мы могли бы сразу точно сказать: он томится в предчувствии любви. Любви, уже живущей в нем, но не получившей пока конкретного воплощения в доступном его взгляду внешнем мире.

Но ведь речь идет об Игнатьеве Борисе Семёновиче, чья жизнь подвигается к сорока, чья любовь к поэзии полностью исчерпывается наиболее популярными произведениями Сергея Есенина, а собственное значение для общества несомненно, поскольку проявляется в полезной работе по озеленению родного города. И, рассуждая о таком человеке, мы должны бы поостеречься с романтическими объяснениями. Тем не менее истина именно тут – Игнатьев вдруг, к сороковке, по неизвестным, но, вероятно, вполне закономерным причинам весь наполнился любовью! И она стала искать выход и, не найдя пока подходящего объекта, стала дергать и корежить своего носителя, как дергает и крутит вода толстый поливальный шланг, придавленный ногой невнимательного прохожего. И бросает бедного Игнатьева то к соседке, под внешним обаянием которой скрывается, на взгляд автора, не совсем достойная сильного чувства натура, то...

Впрочем, вот и она – легка на помине. Выходит из подъезда, вся в чем-то удивительном, сплошном и в то же время открытом, то есть ажурном, но глухом... А, черт, запутался автор в галантерейных описаниях, да ладно, в общем, издали – точно как игнатьевская дочка, хотя сама, между прочим, Борис Семёнычу почти ровесница, послевоенного года. Выходит из подъ-

езда, вежливо здоровается, улыбается милому соседу и – м-да, вот оно как поворачивается! – вступает в разговор.

Вот так. Бывают в жизни совпадения, совершенно недостоверные в искусстве, – хорошо, что здесь мы жизнь описываем, а то никто не поверил бы.

Значит, сидит Игнатъев рядом со своим виденьем – он эпитет "мимолетное" не помнит, да здесь и ни к чему, а то обязательно пришлось бы написать – "и слушает приятный голос". А поскольку голос действительно от природы приятен, да еще и наполнен специальным отношением, и поскольку Игнатъев от всего происходящего несколько забалдел, то слышит он не все слова, а только отдельные фразы, даже неоконченные – будто звук в телевизоре пропадает.

– ...полностью всю сумму внесем, а теперь двухкомнатные кооперативы, знаете, с какими кухнями – чудо!., и даже удобней... муж не знает, он был бы обязательно против... знаете, соседи, то-сё... а вы мне потом позвоните, встретимся как-нибудь, обсудим всё... мороженого где-нибудь поедем, ладно?., угостите соседку мороженым?..

Ни черта не понимает Игнатъев! Слышит только, что вроде уговаривают его съехать с квартиры, которую каким-то неведомым образом собираются превратить в спальни, что ли... Какие еще спальни, ничего не поймешь! А он, значит, чтобы вступал в кооператив на чужие, вот сейчас обещанные ему деньги, и за это будет ему разрешено угостить соседку мороженым. Мороженого вдвоем поедем, вот как. Ну дела. Ничего не понимает Игнатъев, затягивается покрепче и думает. И молчит.

А приятный голос становится еще приятнее, и с ужасом уже слышит Игнатъев вовсе какую-то несурасицу – откуда она-то знать может?!

– ...а тут сны всякие мучают, правильно?., конечно, вы же еще совсем молодой мужчина, разве уснете, когда под вами, можно сказать... ой, извините, что это я говорю... между прочим, я тоже плохо спала, всю ночь летать – разве уснешь... вы понимаете?..

Нет, ничего он не понимает. А знает только одно – если уж и сны его известны дьявольской красавице, то не миновать ему съезжать с квартиры. Бросать жилплощадь, полученную в порядке очередности от треста озеленения, ехать в какой то неведомый кооператив, и все только потому, что горят и мерцают желтым пламенем глаза, в которые когда-то, на свое несчастье, он по-соседски заглянул. И никак не определит Игнатъев почему, но неуютно и даже страшно становится ему на скамейке рядом с предметом еще недавних его мечтаний, жарко становится под нежным утренним солнышком и душит, будто ядовитый выхлоп газонокосилки, любимая сигарета. И вдруг чудится, что это она, красавица, держит его за горло ловкими своими руками с красивыми ногтями и кольцами.

Бедный Игнатъев! Ничего он не придумал лучше, чем ответить даме следующим образом:

– По мороженому-то я... не очень... не уважаю... но если что... заходи в получку с Виталиком своим, пойдем в кафе... по-соседски сухаря можно взять, ага?

Опустим же окончание этой ужасной сцены – недоумение героя, бешеную бледность пораженной в своих надеждах женщины. Не будет у Пироговых двухэтажной квартиры – и ладно. Не созрел, значит, еще материальный уровень, нечего к нему и пробиваться через чужой пол, правильно?

Тут интереснее и симпатичнее события назревают.

Удивленный и расстроенный странной беседой, отбывает Игнатъев по домашним закупочным делам. Едет в центр, мостится, теснясь коленями, на высоком троллейбусном сиденье, поглядывает в окно, размышляет. "Вот тебе и на... ну дают люди... да разве ж можно... эх, народ... ковры хорошо, а на кой они, ковры-то, если так... это самое... ну дают люди угля – мелкого, но много..." Вот такие мысли. И если их читать внимательно, можно обнаружить определенное отношение ко всему случившемуся – и к разговору с соседкой, и к истинному смыслу ее действий, полностью дошедшему до Игнатъева к этому времени, и даже в целом

к некоторым негативным явлениям жизни, проявившимся в инциденте. Но это все, конечно, если внимательно читать.

Сам же Борис Семёныч тем временем приезжает в центр и отправляется в заданный женою гастрономический магазин за некоторыми бывающими именно в этом магазине припасами.

Прелестный стоит день, и, поглощенный его прелестью, не сразу замечает Игнатъев, что путь его каким-то необъяснимым образом лежит через тот самый бульвар, где проводит он все свои рабочие дни, – тот самый бульвар, где когда-то, давным-давно, гулял он в группе незабвенной Эльзы Гавриловны, высматривая, не идет ли уже за ним мать в пыльнике и берете или отец, по летнему времени без пиджака, в мелкополосатой рубашке с высоко подтянутыми с помощью резинок рукавами... Тот самый бульвар, где ежедневно чинит он проклятую косилку, холит родную зелень – где проходит день за днем его обычная, совсем даже неплохая, но какая-то вдруг задрожавшая изнутри жизнь.

Игнатъев думает, что это ж надо – и в выходной бульвара не минуешь, во бульвар! Навстречу ему идут нарядные отдыхающие москвичи и гости столицы, и он, глядя на их странные одежды, думает, что, наверное, скоро будут на всем иностранными буквами писать еще больше, чем сейчас. К примеру, на правом рукаве – "правый рукав", на левом – "левый", на штанах – "штаны". Не по-нашему, конечно. А может, и уже пишут? Игнатъев точно не знает, потому что языками не владеет, и надписи на карманах, спинах, плечах и прочем точно перевести не может. Однако ничего особенно против не имеет. "Чего ж, пусть... мода... ничего, пусть..." – думает он.

Затем он видит одновременно два предмета. Первый представляет собой деревянное, вкопанное в газон сообщение о том, что выгул собак запрещен на основании того-то от такого-то. Второй предмет прислонен к первому и является сильно выпившим человеком, в котором трудно различить другие детали, кроме недопитой бутылки вина портвейн в кармане неаккуратных брюк. Игнатъев сам некогда принимал участие во вкапывании деревянного запрета, но теперь ему приходит в голову, что относительно собак допущена некоторая несправедливость.

"Может, этот-то хуже... вот стоит, и ничего... а собаки что ж, ну и гуляли бы... и ничего... а то нальют глаза и прислоняются..." – думает Игнатъев.

Все дальше и дальше идет он по короткому бульвару, которому сегодня почему-то нету конца. А навстречу ему уже выходит с противоположной стороны, от памятника, нарушительница собачьего запрета. Рвется к каждому дереву, обкручивая вокруг хозяйки поводок, полуспаниель. Солнце пробивается сквозь светлые легкие волосы женщины с собакой, поблескивая на металлической штучке – не выбросила пока все-таки!.. И вот они уже узнают друг друга, и вспоминают случайный и неудачный контакт, и продолжают сближаться, и... Вот и в таком виде может явиться судьба.

Автор предлагает читателю их оставить в этот очень важный момент жизни. Автор не станет рассказывать, как знакомился Игнатъев со своей наконец воплотившейся в конкретного товарища любовью. Как молча курил, морщил лоб, сердился на себя и думал: "Вот тебе и пожалуйста... ну я даю!.., нехорошо, а что тут делать, когда вообще?.." Не станет он рассказывать и как долго смеялась над собой женщина с собакой, как швыряла в мусоропровод железную штучку и еще некоторые вещи, как снова смеялась над собой и плакала, представляя, что могут посмеяться другие. Не будет и ручаться, что в конце концов все совершенно уладится. Да вряд ли, действительно, может в этой ситуации все уладиться. Что было – то было, а как было – это в самом начале описано. Хорошо было, чего душой кривить! А за хорошее платить надо, этого только дети не знают. И заплатит Игнатъев, и подруга его заплатит тоже... Но хоть будет за что!

А пока автор решил скомкать промежуток между концом и началом этой истории. Скажем только так: они встретились, узнали друг друга и после многих смешных и грустных происшествий познакомились близко. Они полюбили друг друга, и, как всякая любовь, их при-

несла столько же счастья, сколько и горя, доказав всем персонажам сюжета, что они абсолютно живые люди. Игнатьеву и женщине его мечты было хорошо вместе, а полуспаниель нюхал прокуренные пальцы Игнатьева и смешно дергал несуразно мощным носом... Но однажды Борис Семёныч услышал, как на кухне подруга его любимой сказала: "А твой садовник – ничего, милый..." А потом она как-то нечаянно услышала, как у Игнатьева допытывались друзья-озеленители: "Слышь, а она очки снимает или так просто?" Месяц они не виделись, потом она опять пришла на бульвар...

И много еще всего было, и плакала Тамара в пищеблоке, и Пироговы собирались надолго в отъезд по важным и ответственным делам, опасаясь предстоящего им жаркого климата, и лил дождь, падал снег, и опять светило солнце, и миллионы земляков Игнатьева шли мимо него по бульвару, и во многих головах бродили фантазии большого города, и в фантазиях этих происходили вновь и вновь счастливые нечаянные встречи, как называл любовь один изумительный писатель...

Нет, все-таки не будем писать о любви – что о ней можно написать, ведь действительно все уже было написано когда-то – и о женщине с собакой, и о встрече...

В общем, Игнатьев еще продолжает идти по бульвару, а навстречу ему движется женщина со смешным псом на запутанном поводке. Автор, увы, даже имени для нее не успел придумать.

Вот они уже встречаются глазами и начинают узнавать друг друга.

Московские сказки

Голландец

В первые он был замечен около одиннадцати вечера (в протоколе было записано так: "В районе 23:00 ночи...") на Кутузовском проспекте.

Стоял январь, снежные змеи ползли по уже пустоватой в это время суток правительственной дороге, трафик – извините, лень заменять более русским словом, да разве и это еще не сделалось русским? – сошел практически на нет, лишь изредка пролетали в направлении знаменитых пригородов автомобили самых дорогих марок и моделей да упрямо тащился неведомо куда одинокий четырехста двенадцатый "москвич" с кривым, нагруженным всякой дрянью багажником на крыше, дрожавший на морозе всеми крыльями и полусонно моргавший грязными фарами. А в сторону центра и вовсе никто не ехал, вот только пугливая "газель" проскочила почти незаметно по правому ряду и свернула в темный переулок по своим мелкооптовым делам.

Тут все и началось.

Трагический герой происшествия, которое спустя небольшое время случилось – или случая, который произошел? – в этих краях, двигался в сторону области в крайнем левом ряду, нарушая скоростной режим и еще ряд ПДД, а именно ехал, собственно говоря, даже не в левом ряду, а по резервной полосе, с включенным проблесковым маячком, на каковой не имел установленных правилами документов, находился в состоянии алкогольного, а также наркотического опьянения и видал всех на... Впрочем, что ж тут много говорить, и так все понятно. Звали водителя Абстулханов Руслан Иванович, и зачем он так неправильно ехал на большой японской машине-внедорожнике (джип), знал один только Аллах, всемогущий и всеведущий, но и то, наверное, сейчас уж забыл, поскольку было это давно, информации же такого рода поступает наверно немерено...

И зачем Руслан Иванович в ночном клубе, принадлежавшем, кстати, его хорошему приятелю, депутату и прогрессивному юноше Володичке Трофимеру... ладно, о Володичке в другой раз... так вот: зачем Абстулханов Руслан, которого друзья и правоохранительные органы чаще называют для легкости просто Абстул, пил в ночном клубе виски, нюхал кокаин, а под конец еще догонялся шампанским, хотя делать все это упомянутый Аллах вообще категорически запрещает? Ладно, виски Абстул, как всем известно, любит, кокос на этот раз был исключительно качественный, а шампанское – французское настоящее, оно даже в супермаркете под стоху тянет, не то что в клубе... Но зачем же перед дорожкой-то?! Ну, не знаю. Точнее, мне кажется, что знаю, но объяснить вам не смогу. Понимаете – ему можно. Ему, Абстулу, можно ездить пьяным по осевой – вот еще спросите, зачем по осевой, если дорога вообще пустая, – и со скоростью сто шестьдесят километров в час, и с мигалкой, потому что жизнь устроена правильно, она приспособлена для него и его друзей, а никак не для вас, что вы привязались, честное слово! И Аллах, который, между прочим, есть просто Бог, один на всех, тут совершенно ни при чем. Хотел Абстул – и пил, и нюхал, и обнимал даренных Володичкой красавиц, захотел – сел и уехал. А если вы никогда за руль не садитесь выпивши, кокаин же вообще видели только в кино, то и правильно, и не нужно вам, и успокойтесь.

Да.

Значит, продолжим.

Джип мчался по осевой, обильные ночные огни Москвы сверкали по сторонам и над дорогой, а бедный Руслан, уверенно (отдадим ему должное) держа дорогу, дремал, просыпался, вспоминал, куда он едет, снова дремал, а огромная машина неслась себе...

Как вдруг Абстул почувствовал, что он не один, что кто-то наблюдает за ним, будто глазок в двери камеры приоткрылся беззвучно.

Глянул сначала Абстул направо – никого, пустое кожаное сиденье пассажирское, над ним густо тонированное боковое стекло, за стеклом пустой проспект.

Глянул тогда налево Абстул и увидел его.

Он представлял собой автомобиль типа универсал, называемый обычно нашими автолюбителями "сарай" и любимый в Европе многосемейными людьми, а у нас в основном предпринимателями, не образующими юридического лица, но просто торгующими на вещевых рынках всяким барахлом, которое как раз в таких автомобилях перевозить очень удобно. Модель этого народного автомобиля, которую увидел слева от себя Абстулханов Руслан, сделалась самой распространенной в России примерно через десять лет после того, как выпускать в Германии ее перестали.

"Не хило, – подумал Абстул, – я сто шестьдесят иду, и он сто шестьдесят идет, я по разделительной иду, а он по встречке идет конкретно, как такой лоховской "сарай" идет сто шестьдесят, почему ментов не боится и как он арку, дятел, объезжать будет, если эта арка через километр уже, даже меньше, блин?!"

То есть ничего такого он, конечно, не подумал, подумал только: "Ни фига себе!" – вернее, не совсем так, а... В общем, некогда тут уточнять слова, потому что имперская тень Триумфальной уже близко.

Абстул крепче берет руль, уходит вправо, в законный ряд, и, минуя памятник, глядит в левое зеркало, ожидая увидеть в нем кувырок, как в американском кино, и прислушивается, ожидая услышать резиновый визг и железный удар, – но не видит и не слышит ничего. Позади темная и пустая дорога, только рекламы светятся в черном небе гнилым светом, а до слуха доносится лишь душевная песня хорошего радио, на которое всегда настроен приемник в джипе. И Абстул, слегка тряхнув головой, чтобы окончательно взбодриться, немного сбавляет, поскольку скоро уже поворачивать на Рублевку, а через полчаса тормозить перед домом, или, как говорится, коттеджем, где сейчас первый этаж практически готов, там семья Абстулхановых и живет, а к лету бригада все достроит, получится дом у Руслана Ивановича не хуже, чем у соседей, уважаемых даже по меркам этого шоссе людей, а тогда можно будет привезти еще братьев и поставить их точки держать, самому же пора что-нибудь поспокойнее взять, клуб, допустим, как у Володички, а потом...

Он уже не крутил головой, а сразу увидел этот проклятый "сарай". Теперь ржавая развалина была справа, неслась вровень, борт в борт, мешая менять рядность перед поворотом. "Ничего себе, – опять подумал примерно так Абстул, – я сто сорок иду, и он сто сорок идет, откуда, вообще, блин, он взялся справа?!"

Ответа на этот вопрос, как и на предыдущие, он не нашел, да и не мог найти, потому что уже в следующую секунду увидел то, что будет подробно описано ниже, и лишился рассудка.

Салон универсала, не сбавлявшего ход и летевшего справа от джипа, осветился ярким, клубящимся голубым светом, будто в нем зажгли не обычную полудохлую потолочную лампочку, а зенитный прожектор. В этом свете стали отчетливо видны водитель и пассажиры проклятого экипажа. Все они были одеты вполне обычным образом: в черные кожаные куртки и черные же вязаные шапки. Но между воротниками курток и шапками увидел уже психически больной гражданин Абстулханов Р. И. не заросшие модной и этнически естественной щетиной смуглые лица, чего, скорей всего, можно было бы ожидать; не бледные, налитые нездоровой полнотой щеки и крепкие шеи тяжелоатлетов титульной национальности, что было бы нежелательно, но тоже понятно; не бессмысленные испитые рожи обкурившихся до остекления подростков, что было бы противно, но неопасно; даже не физиономии ментов в штатском, исходящие служебной наглостью и жадностью, что не сулило бы никаких проблем, кроме потери небольших бабок... Нет, о нет, ничего такого не увидел несчастный!

В сияющей голубым огнем машине скалились длинными кривыми зубами бурые черепа, тонкие кости запястий высывались из кожаных рукавов, и голые, гладкие, блестящие полированной желтизной фаланги лежали на баранке.

"Сейчас я их сделаю", – глупо подумал Абстул, придавил подошвой длинноносого итальянского ботинка педаль и, ювелирно подрезав адских выползней – сама собой сработала моторика опытного подставлялы, – сразу ушел сильно вперед. В зеркалах – и в правом, и в левом, и в верхнем – возникла черная пустота. "В мертвой зоне остались, уроды", – вполне логично на этот раз решил Абстул и засмеялся в полный голос, и смех его, несмотря на то что окна в машине были плотно закрыты, разнесся над всем проспектом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.